

# ПРИМИТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОВЕДЕНИЕ

## § 1. Три плана психологического развития

В научной психологии глубоко укоренилась мысль о том, что все психологические функции человека следует рассматривать как продукт развития. «Поведение человека, — говорит Блонский, — может быть понято только как история поведения».

Два плана психологического развития изучены в настоящее время с наибольшей полнотой. Психология рассматривает поведение человека как результат длительной биологической эволюции. Она прослеживает зачатки сложнейших форм человеческой деятельности у простейших одноклеточных организмов. В их примитивных реакциях, «движениях *от чего-нибудь* и *к чему-нибудь*», она видит отправные точки для понимания высших форм мышления и воли современного человека.

В инстинктах животных видит она прообраз человеческих эмоций и в страхе, в гневе человека открывает следы бегства и нападения хищного животного. В первичных условных рефлексах, изучаемых в лабораториях, видит она основы, из которых развилась вся сложная деятельность человека, как продукт коры мозга, и пытается охватить единым законом движение растений, тянущихся к солнцу, и вычисления Ньютона, открывающего закон всемирного тяготения, «как отдельные звенья, — по выражению академика Павлова, — единой цепи биологического приспособления организмов».

Наконец, в недавних открытиях Кёлера, о которых рассказано выше, психология получила не хватавшее ей до того звено, соединяющее поведение человека с поведением его ближайшего родственника по биологической эволюции — человекообразной обезьяны. Полное торжество дарвинизма в психологии сделалось возможным только благодаря открытию, показавшему, что существеннейшая черта человеческого интеллекта — изобретение и употребление орудий — восходит в своем развитии к поведению обезьян, которые также при известных условиях способны изобретать и употреблять простейшие орудия.

Таким образом удалось открыть в животном мире корни даже той специфической формы активного приспособления человека к среде, которая выделила человечество из всего прочего животного царства и привела его на пути исторического развития. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, на которую указывал Энгельс, была подтверждена здесь средствами научного эксперимента.

Все это, вместе взятое, крепко и неразрывно связало психологию человека с биологической эволюционной психологией и научило исследователей видеть, что и поведение человека в значительной своей части есть до сих пор, по выражению Блонского, поведение животного, поднявшегося на задние конечности и горящегого.

Другой план развития изучен также чрезвычайно хорошо. Поведение взрослого человека, как это давно было установлено психологами, создается не сразу, а возникает постепенно и развивается из поведения ребенка. Правда, в прежнее время психологи и философы охотно допускали, что идеи человека и мышление его составляют врожденную основу человеческой души и не подвергаются развитию тогда, когда развивается тело ребенка.

Они склонны были утверждать, что самые высшие человеческие идеи присущи уже ребенку в момент рождения или даже раньше. «Я не утверждаю, — писал по этому поводу Декарт, — что дух младенца в утробе матери размышляет о метафизических вопросах, но у него есть идеи о боге, о себе самом и о всех тех истинах, которые известны сами по себе, как они есть у взрослых людей, когда они вовсе и не думают об этих истинах».

Выводы, которые можно было бы сделать на основании такого утверждения, были сформулированы Мальбраншем, который утверждал, что детям наиболее доступны абстрактные, логические, метафизические и математические знания. Раз идеи прирождены детям, то нужно сообщать им вечные истины возможно раньше. Чем ближе к врожденному источнику, тем чище и вернее будет сама идея. Позднейший чувственный опыт ребенка, основанный на случайных фактах, затемнит первоначальную чистоту врожденной идеи.

Эти положения давно оставлены научной психологией. Психология давно усвоила правило, согласно которому мышление и поведение взрослого человека должны рассматриваться как результат очень длительного и очень сложного процесса развития ребенка. Со всей возможной тщательностью психология стремится установить все те качественные превращения одной формы поведения в другую, все те количественные изменения, которые, взятые вместе, составляют основу детского развития.

Она следит, как постепенно из крика новорожденного, из лепета младенца возникают отдельные проблески человеческой речи и как только к возрасту полового созревания заканчивается в самом основном процесс овладения речью, так как только с этого времени речь становится для ребенка орудием образования абстрактных понятий, средством абстрактного мышления.

Она следит, далее, за тем, как в играх ребенка просвечивают, развиваются и складываются его будущие наклонности, умения и способности, как в детских вымыслах зреют и упражняются элементы творческого воображения, которые послужат в будущем основой художественной и научной деятельности.

Оба эти плана развития, как уже сказано, достаточно глубоко вкоренились в психологию. Но есть еще третий план развития, который гораздо меньше, чем эти, вошел в общее сознание психологов и который отличается глубоким своеобразием по сравнению с этими двумя типами развития, — это развитие историческое.

Поведение современного культурного человека является не только продуктом биологической эволюции, не только результатом развития в детском возрасте, но и продуктом развития исторического. В процессе исторического развития человечества изменялись и развивались не только внешние отношения людей, не только отношения между человечеством и природой, изменялся и развивался сам человек, менялась его собственная природа.

В результате этих длительных изменений и сложился психологический тип современного культурного европейца или американца. Особенности этого типа тоже могут быть поняты нами не иначе, как если мы приложим к их объяснению генетическую точку зрения, если мы спросим, откуда и как они произошли.

Историческое развитие психологии человека изучено хуже, нежели два других плана развития, потому что наука располагает гораздо меньшим материалом относительно исторических изменений человеческой природы, чем относительно детского и биологического развития. Огромный и разнообразный мир животных, застывших на различных ступенях «происхождения видов», дает как бы живую панораму биологической эволюции и к данным сравнительной анатомии и физиологии позволяет прибавить данные сравнительной психологии.

Развитие ребенка есть процесс, совершающийся на наших глазах многократно. Он допускает самые разнообразные способы изучения. Только процесс исторического изменения человеческой психологии поставлен в значительно худшие условия изучения. Исчезнувшие исторические эпохи оставили документы и следы относительно своего прошлого.

По этим документам и следам легче всего может быть восстановлена внешняя история человеческого рода. Психологические механизмы поведения не отразились при этом сколько-нибудь объективным и полным образом. Поэтому историческая психология располагает значительно меньшим материалом.

Поэтому одним из богатейших источников этой психологии является изучение так называемых примитивных народов. Примитивными или первобытными народами называют обычно в условном, правда, смысле некоторые стоящие на низших ступенях культурного развития народы нецивилизованного мира. Эти народы не могут быть с полным правом названы примитивными, так как у них, у всех решительно, наблюдается то большая, то меньшая степень цивилизации. Все они вышли уже из доисторического периода существования человека. Многие из них имеют очень древние традиции. Некоторые испытали на себе влияние отдаленных и мощных культур. Другие деградировали в своем культурном развитии.

*Примитивного человека в собственном смысле этого слова не существует сейчас нигде, и человеческий тип, как он представлен у этих первобытных народов, может быть назван только относительно примитивным.* Примитивность в этом смысле есть низшая ступень и исходная точка исторического развития поведения человека. Материалом для психологии примитивного человека служат данные о доисторическом человеке, о народах, стоящих на низших ступенях культурного развития, о сравнительной психологии народов различной культуры.

Психология примитивного человека еще не создана. Сейчас происходит накопление психологического материала в этой области, разработка методов и понижывание психологической точкой зрения этнографического материала, по выражению Турнвальда.

## § 2. Три теории культурно-психологического развития

Первая задача, которая встает при подходе к проблеме исторического развития человека, заключается в том, чтобы определить своеобразие того процесса развития, с которым мы встречаемся в этом случае. В психологии были выдвинуты последовательно одна за другой три точки зрения или три принципа, характеризующие историческое развитие человека.

Первая точка зрения, выдвинутая в свое время Тейлором и Спенсером, руководила первыми этнографами и этнологами, накопившими огромный фактический материал по вопросу о нравах, верованиях, обычаях и языке примитивных народов.

В психологии эти авторы стояли на точке зрения так называемого ассоцианизма. Они полагали, что основным законом психологии является закон ассоциации, т. е. связи, устанавливаемой между элементами нашего опыта на основе их смежности или сходства. Законы человеческого духа, полагали эти авторы, во все времена и на всем земном шаре всегда одни и те же.

Механизм умственной деятельности, самая структура процессов мышления и поведения, не отличается у примитива и культурного человека, и все своеобразие поведения и мышления примитива по сравнению с культурным человеком может быть, согласно этой теории, понято и объяснено *из тех условий*, в которых живет и мыслит дикарь.

Если бы мы, культурные люди, в один прекрасный день оказались лишенными всего огромного накопленного человеком опыта и были поставлены в условия жизни, в которых живет примитивный человек, мы мыслили бы и поступали бы, говорят эти авторы, так же, как поступает и мыслит дикарь. Дело, следовательно, не в аппарате мышления и поведения и в своеобразных механизмах, отличающих культурную психику от некультурной, — дело *только* в материале, в *количестве опыта*, которым располагают та и другая.

Исходя из такого понимания, эти авторы считали центральным явлением, лежащим в основе всего культурного развития примитивного человека, первобытный анимизм, или теорию всеобщего одушевления всех явлений и предметов природы.

Первобытный человек, пораженный явлениями сновидения, во время которого он видит умерших или отсутствующих, беседует с ними или сражается, уносится за много километров от того места, где он просыпается, и т. д., начинает верить в объективность этих представлений. Он верит в двойственность своего собственного существа. По аналогии с самим собой он объясняет и природные явления, за которыми, по его мнению, действуют души или духи вещей, как это он наблюдает у самого себя.

Закон ассоциации идей и наивное применение принципа причинности объясняют для этих авторов возникновение анимизма, этой естественной философии примитивного человека, возникающей из естественных законов человеческого духа. Тожество человеческого духа на всем протяжении исторического развития и на всем протяжении земного шара принимается этими авторами за аксиому. В частности, в пользу правильности этого взгляда говорит факт совпадения отдельных верований, нравов и учреждений, наблюдающихся у народов, живущих в самых отдаленных частях земного шара.

Таким образом, основной психологический механизм поведения, закон ассоциации идей и основной принцип логического мышления, принцип причинности, являются общим достоянием и примитивного и культурного человека, но только оба эти аппарата — психологической ассоциации и логического мышления — у культурного человека располагают огромным опытом, большим материалом, а у примитивного человека опыт ограничен, материал невелик. Отсюда и проистекает разница между психологией одного и другого.

Легко видеть, что при такой постановке вопроса снимается самая проблема психологического развития человека в процессе истории. Развитие, как таковое, невозможно там, где в самом начале пути мы имеем совершенно такие же явления, как и в его конце. Речь идет, скорее, не о развитии в собственном смысле этого слова, а о накоплении опыта. Самый же механизм накопления и обработки этого опыта принципиально ничем не отличается в начальной и конечной стадиях. Он один остается неизменным в процессе всеобщего исторического изменения.

Эта наивная точка зрения уже давно была оставлена психологией. Нет ничего наивнее, как представлять себе примитивного человека естественным философом и объяснять все его мышление и поведение особенностями его философии. Развитием человеческого мышления и поведения движет не теоретический или идеальный интерес, а материальные потребности: примитивный человек действует больше под влиянием практических, чем теоретических мотивов, и в самой его психологии логическое мышление является подчиненным инстинктивным и эмоциональным его реакциям.

«Нет ничего ошибочнее, — пишет Покровский, — как представлять себе мирозерцание дикаря источником его религии; мирозерцание, наоборот, складывалось на почве известных готовых уже религиозных эмоций. В корне первобытной религии лежит не какое-либо объяснение, а всего вернее — именно отсутствие объяснения; в основе религиозного мышления у дикаря лежит не представление, не логическая работа мысли, но аффект, исходная точка всякого сознательного процесса вообще».

Далее исследования показали, что психологический механизм мышления и поведение примитивного человека представляют собой также исторически изменчивую величину. Закон ассоциации идей и принцип причинного мышления вовсе не охватывают всех сторон мышления примитивного человека. Леви-Брюль был первый, который попытался показать, что психологический механизм мыш-

ления примитивного человека не совпадает с механизмом мышления культурного человека.

Он попытался даже определить, в чем заключается различие между тем и другим, и установить наиболее общие законы, которым подчинена деятельность психологического механизма у примитивного человека. Его исходная точка зрения совершенно противоположна точке зрения Тейлора.

Он исходит из двух основных положений. Первое заключается в том, что из законов индивидуальной психологии, как, например, закон ассоциации идей, невозможно объяснить верования, коллективные представления, возникающие в каком-нибудь народе или обществе, как явления социальные. Эти коллективные представления возникают в результате социальной жизни какого-нибудь народа. Они являются общими для всех членов данной группы. Здесь они передаются из поколения в поколение. Они передаются индивиду часто уже в сложившемся виде, а не вырабатываются в нем. Они ему предшествуют и переживают его, подобно тому как и язык имеет такое социальное, не зависящее от отдельного индивида существование.

Таким образом, меняется основная точка зрения на самый вопрос. Говоря словами Конта, Леви-Брюль пытается не человечество определить по человеку, а, напротив, человека — по человечеству. Особенности примитивных народов он не считает возможным вывести из психологических законов индивидуальной жизни, а, наоборот, самую психологию индивида он пытается объяснить из характера коллективных представлений, возникающих в этих группах, и из типа или структуры того общества, в котором эти люди живут.

Вторая исходная точка этого исследователя заключается в том, что он допускает следующее положение. Различным типам общества соответствуют различные типы психологии человека, отличающиеся друг от друга подобно тому, как отличается психология позвоночных и беспозвоночных животных.

Конечно, как и у различных животных, так и в различных общественных структурах есть общие черты, присущие всякому типу человеческого общества, — язык, традиции, учреждения. Но наряду с этими общими чертами, говорит Леви-Брюль, человеческие общества, как организмы, могут представлять глубоко отличные одна от другой структуры и, следовательно, соответствующие различия в высших психологических функциях. Поэтому надо отказаться от того, чтобы свести с самого начала психологические операции к единому типу независимо от структуры общества, и объяснять все коллективные представле-

ния психологическим и логическим механизмом, остающимся всегда одним и тем же.

Этот исследователь поставил себе задачей сравнить два психологических типа, расстояние между которыми оказывается максимальным: тип мышления примитивного и культурного человека. Основной вывод, к которому приходит в своих исследованиях Леви-Брюль, заключается в том, что высшие психологические функции примитивного человека глубоко разнятся от тех же функций культурного человека, что, следовательно, *самый тип* мышления и поведения представляет собою исторически изменяющуюся величину, что психологическая природа человека так же меняется в процессе исторического развития, как и его природа общественная.

Мы говорили уже, что Леви-Брюль считает, что тип психологических функций находится в прямой зависимости от социальной структуры той группы, к которой принадлежит индивид. Желая дать общую характеристику этому особому типу примитивного мышления, Леви-Брюль обозначает его как мышление прелогическое (дологическое) или мистическое.

Этим обозначением он не хочет сказать, что это мышление является антилогическим, т. е. противоположным по своему типу логическому мышлению, или алогическим, т. е. не имеющим ничего общего с логическими формами и лежащим по ту сторону или вне всякой логики. Он указывает этим термином только на то, что это мышление является дологическим, т. е. не развившимся еще до формы мышления логического. Нечувствительность к противоречиям характеризует это мышление, и его основной чертой является *закон соучастия*, заключающийся в том, что, согласно представлению примитивного человека, одна и та же вещь может участвовать в нескольких совершенно различных формах бытия. Этот «закон соучастия» приводит примитивного человека к установлению в мышлении таких связей, которые дают Леви-Брюлю основание приписать всему примитивному мышлению мистический характер.

Многие исследователи отмечали уже, что это определение не является правильным. С внешней стороны, рассматриваемое с точки зрения культурного человека, это поведение и мышление кажутся алогическими или мистическими. «Примитивное мышление, — говорит Турнвальд, — именно *только кажется* алогическим». В действительности же, с точки зрения самого примитивного человека, оно вполне логично. Турнвальд поясняет это простым примером.

Когда человек страдает какими-нибудь припадками или болезненными состояниями, примитивы полагают, что в него все-



лился злой дух. Чтобы излечить больного, они пытаются изгнать этого духа. Для этого они пользуются такими методами, как если бы они должны были прогнать действительного человека: духа называют по имени, требуют, чтобы он ушел, пугают его шумом.

Подобные церемонии кажутся нам бессмысленными, потому что мы понимаем эпилептический припадок или болезнь так, как его понимает современная наука. Но с точки зрения примитивного человека, представляющего себе все изменения, происходящие в человеке как результат воздействия внешних сил, благоприятных и неблагоприятных, является совершенно логическим, когда он пытается воздействовать на эти силы так, как это описано в нашем примере.

Существенное возражение против теории Леви-Брюля возникает не только с той точки зрения, которую развивает Турнвальд, но и с точки зрения объективной психологии. Турнвальд справедливо указывает, что с субъективной точки зрения самого примитивного человека его магическая церемония изгнания духа для исцеления больного является совершенно логической.

Однако легко показать, что тот же человек проявляет и объективно логическое мышление во всех тех обстоятельствах, в которых его деятельность направлена на непосредственное приспособление к природе. Изобретение и употребление орудий, охота, скотоводство и земледелие, сражения — все это требует от него *действительного*, а не только кажущегося логического мышления. Со всей справедливостью один из критиков отмечает, что примитивный человек должен был бы погибнуть на другой день, если бы он действительно мыслил по Леви-Брюлю.

Очевидно, в области практической деятельности наряду с тем типом мышления, который описал Леви-Брюль, примитивный человек обладает и мышлением логическим в собственном смысле этого слова, хотя и недостаточно развитым.

Однако при всем том Леви-Брюлю принадлежит неоспоримая заслуга, заключающаяся в том, что он выдвинул впервые проблему исторического развития мышления. Он показал, что сам по себе тип мышления есть величина не постоянная, а исторически изменяющаяся и развивающаяся. Исследователи, пошедшие по указанному им пути, попытались более точно формулировать, от чего зависит различие в исторических типах мышления культурного и примитивного человека, в чем заключается своеобразие исторического развития человеческой психологии. Вместе с этим была установлена третья точка зрения на процесс культурного развития человека.

### § 3. Примитив как биологический тип

Примитивный человек всем своим складом личности, всем своим поведением глубоко отличается от человека культурного. Для того чтобы выяснить, в чем заключается это различие, определяющее в основном исходную и заключительную точку исторического развития человеческого поведения, начнем с различий видимых и бросающихся в глаза.

Отличия примитивного человека и его поведения, как они представляются с первого взгляда, очень легко распадаются на две различные группы. С одной стороны, наблюдателю, впервые сталкивающемуся с примитивным человеком, особенно в естественной обстановке, в его стране, бросается в глаза *превосходство* его над культурным человеком. Это превосходство описано всеми путешественниками, причем некоторые из них доходят в своих утверждениях до крайнего предела, полагая, что примитивный человек во всех отношениях лучше вооружен природой, чем культурный.

Наблюдатели и путешественники прославляли необычайную остроту зрения нецивилизованного человека, необычайную остроту его слуха и обоняния, его огромную выносливость, инстинктивную хитрость, умение ориентироваться, знание окружающей среды, леса, пустыни, моря. Некоторые авторы идеализировали его этические устои, видя в его моральном поведении следы инстинктивной нравственности, заложенной в нем самой природой. Наконец, все в один голос прославляли (и научные исследования это всецело подтвердили) так называемое «следопытство» примитива, т. е. умение его по малейшим следам восстанавливать очень сложные картины событий, обстановки и т. п.

Арсеньев рассказывает про гольда, с которым он путешествовал по дебрям Уссурийского края. «Гольд положительно читал следы, как книгу, и в строгой последовательности восстанавливал все события». Это умение восстанавливать сложные картины прошедших событий по мельчайшим и незаметным для культурного человека следам создает огромное превосходство примитивного человека над культурным и огромную зависимость второго от первого в тех условиях, в которых оказываются путешественники.

Итак, первая группа отличий заключается в превосходстве некультурного человека, которое породило преклонение перед ним как перед совершенным образцом природы и утверждение, что он отличается такой суммой положительных качеств по сравнению с культурным человеком, что неизмеримо превосходит последнего развитием своих естественных психологических функций.

Другая группа отличий как раз противоположная: беспомощность, отсталость, неумение примитивного человека произвести сколько-нибудь сложную операцию, требующую вычисления, размышления, целый ряд минусов, т. е. отклонений вниз, которые тоже с первого взгляда поражают культурного человека при встрече с некультурным. Все это заставляло наблюдателей очень давно приравнять примитива к ребенку, к зверю и отмечать все, чего у него не хватает по сравнению с культурным человеком.

Получается, таким образом, довольно сложная картина: с одной стороны, примитивный человек *превосходит* культурного в целом ряде отношений, с другой стороны, он *уступает* ему. Такова картина, которая намечается с первого взгляда. Попробуем в ней разобраться.

Первый вопрос, который встает перед исследователем, заключается в том, каков биологический тип примитивного человека. Не является ли он просто в биологическом отношении более, менее или иначе развитым существом, чем культурный человек, и не могут ли быть, следовательно, все эти *двойственные различия* между культурным и примитивным человеком отнесены просто за счет другого биологического типа, подобно тому как это имеет место всякий раз, когда мы сравниваем человека с каким-нибудь животным?

Точных и окончательных результатов относительно биологического исследования примитивного человека мы, к сожалению, до сих пор не имеем, несмотря на огромное количество работ, сделанных в этой области. Кроме некоторых незначительных и с несомненностью установленных различий в физиологической сфере (как, например, более быстрое заживание ран у примитивных людей, относительный иммунитет против заражения и инфекции при ранениях, меньшая восприимчивость к малярии и т. п.), мы не знаем непреложно установленных существенных особенностей. Правда, отмечался также целый ряд других фактов, которые некоторыми исследователями ставились в непосредственную связь с культурной отсталостью примитива.

Если бы это предположение было верно, если бы примитив отличался от культурного человека действительно по своему биологическому типу, если бы оказалось, что самый организм его функционирует существенно иным образом, чем организм культурного человека, объяснение в различии между поведением некультурного и культурного человека было бы найдено с несомненной достоверностью, потому что научно совершенно точно установлено, что поведение всякого животного является функцией от устройств

ва его организма. Различные по устройству организмы обладают и различными формами поведения.

К таким фактам, которые могли бы обосновать мнение о различном биологическом типе примитивного и культурного человека, относится утверждение, что черепные швы зарастают у примитивных народов уже к возрасту полового созревания, т. е. значительно ранее, чем у культурных народов. Относительно развития мозга, который является непосредственной органической основой поведения, указывается, что у примитивного человека замечается меньшее развитие серого вещества головного мозга, относительная простота мозговых извилин и ранняя приостановка развития мозга. Общее физическое развитие примитива протекает в несколько ином темпе и ритме, чем у культурного человека. Указывается на то, что общее развитие примитива длится меньше, чем у культурного человека, что оно заканчивается с возрастом полового созревания или вскоре после него.

Однако все эти данные не дают ни малейшего повода к тому, чтобы заключить относительно иного органического типа, который отличает примитивного человека. Раннее зарастание швов, как отмечает Турнвальд, не может означать никакого существенного ограничения для развития мозга. Также макроскопическая структура мозга не является прямым и непосредственным выражением сложности или примитивности поведения. Надо иметь в виду более сложные отношения, на которые указывает Турнвальд.

«Многое, — говорит он, — из того, что поверхностное наблюдение приписывает физиологической организации, имеет свою причину в глубокой культурной отсталости». Причина, следовательно, может быть заменена в данном случае следствием и обратно. Не столько недоразвитие может быть виновно в примитивности поведения, сколько примитивность поведения приводит к ранней остановке в развитии.

По верному замечанию Турнвальда, современная антропология находится в такой стадии развития, в какой находилась ботаника ко времени Линнея. Настоящие антропологические исследования конституции примитива по сравнению с культурным человеком начались только в самое последнее время в связи с изучением деятельности желез внутренней секреции. Для того чтобы выяснить, в какой мере физиологические особенности примитива могут быть ответственны за те различия, которые мы наблюдаем между ним и взрослым культурным человеком, следует остановиться на вопросе, которому до сих пор придавалось наибольшее значение и который стоит в самом прямом отношении к поведению, именно к деятельности органов восприятия.

Исследования показали, что рассказы путешественников о необыкновенной остроте зрения, слуха и обоняния примитивного человека совершенно не оправдываются на деле. По сравнению с культурным европейцем-горожанином действительно следовало бы ожидать, что мы сумеем обнаружить превосходство зрения и слуха примитивного человека, так как условия культурной жизни приводят часто к ослаблению остроты зрения и к близорукости. Но и здесь исследователь предостерегает нас от слишком поспешных выводов.

«Острота чувств у примитива, — говорит Турнвальд, — есть часто результат упражнения; у горожанина его недостаток очень часто является следствием неупражнения, связанного с образом жизни в замкнутых пространствах».

К этому присоединяется еще и то, что у примитивов часто поведение основывается вовсе не на прямом действии органов чувств, а на известном толковании определенных следов или явлений. Например, определенная рябь на воде при спокойной воде указывает опытному рыбаку на плывущую стаю рыб; облако пыли определенной высоты и формы указывает охотнику на стадо животных определенной породы и численности. В этих случаях мы имеем дело вовсе не с остротой того или иного органа чувств, а с воспитанной и выработанной в опыте способностью толкования следов.

При экспериментальном исследовании оказалось, что острота чувств — и зрения в частности — у примитивных народов не отличается существенно от нашей. Правда, можно считать установленным, что близорукость европейца является несомненным продуктом культуры. Все же оказалось, что это не является единственной причиной превосходства примитивного человека в области зрения: европеец нуждается в большей ясности картины, для того чтобы составить суждение о ней, в то время как примитив привык толковать и отгадывать даже неясные зрительные образы. Решающее значение в этом отношении имеет исследование зрения, произведенное Риверсом, слуха, обоняния и вкуса — Мейерсом, ощущений кожи, мускулов и давления крови — Мак-Дауголлом, быстроты реакций — Мейерсом.

Все эти исследования показали, что элементарная физиологическая деятельность, лежащая в основе наших восприятий и наших движений, все элементы простейшей реакции, из которых складывается поведение, не различаются сколько-нибудь существенным образом у примитивного и культурного человека. Даже относительно восприятия цветов нельзя было установить какого-нибудь существенного различия. Риверс в своих исследованиях нашел у

одной группы папуасов очень большой процент дальтонизма, в то время как у другой группы не нашел ни одного дальтоника.

Однако никем не была еще открыта столь примитивная раса со всеобщей цветовой слепотой, даже у обезьян не удалось установить с достоверностью этой слепоты. «Надо допустить, — говорит далее Турнвальд, — что развитие цветоощущения было закончено задолго до возникновения человека, как такового».

Так же обстоит дело и с остротой слуха у примитивных народов, которую также расценивали как превосходящую остроту слуха современного человека. Исследования Мейерса и Брунера показали, что острота слуха у белых в среднем выше, чем у примитивов. Так же переоценено было и обоняние примитивного человека. «Исследования над неграми и папуасами, — говорит Турнвальд, — привели к тем же результатам, которые мы уже установили в области зрения и слуха». Несколько разноречивые данные получились при исследовании осязания. Опыты Мак-Дауголла обнаружили у папуасов несколько большую тонкость различения. Наоборот, у некоторых других примитивных народов не удалось констатировать сколько-нибудь значительного отклонения от уровня развития той же самой функции у культурного человека.

Несколько большая выносливость в отношении боли, обнаруженная исследованиями, также не указывает непосредственно на физиологическую основу этого явления. Даже праворукость, которая не наблюдается у высших обезьян, выступает как общий признак человеческого рода и замечается у примитивного человека в такой же степени, как у культурного.

Если попытаться суммировать результаты этих исследований относительно физиологических отличий примитива, можно прийти к выводу, что научное исследование не располагает в настоящее время сколько-нибудь положительным материалом, для того чтобы указать на особый биологический тип, которому следовало бы приписать, как основной причине, происхождение всего своеобразия поведения примитивного человека. Напротив, установленные исследованием различия оказываются, с одной стороны, очень незначительными, а с другой — глубоко зависящими от упражнения и неупражнения, т. е. в большой мере сами оказываются связанными с культурным развитием. Все это заставляет предполагать обратное отношение между культурным и биологическим развитием примитивного человека и отнести, скорее, за счет культурного недоразвития некоторую отсталость в области психологических функций, которая наблюдается у примитивного человека.

«Примитивному человеку, — говорит Турнвальд, — должен быть присвоен полный титул человека». Развитие человека как биологического типа, видимо, было в основном уже закончено к моменту начала человеческой истории. Это, конечно, не означает того, что человеческая биология остановилась на месте с того момента, как началось историческое развитие человеческого общества. Конечно, нет.

Пластическая природа человека продолжала меняться. Однако это биологическое изменение человеческой природы сделалось уже величиной зависимой и подчиненной историческому развитию человеческого общества. Современные исследователи, как Турнвальд, утверждают, что основными факторами в развитии психологии примитивного человека являются техника и общественная организация, возникающая на основе определенной ступени развития этой техники. Человеческое развитие, каким мы застаем его даже у самых примитивных народов, есть развитие общественное. Поэтому мы заранее должны ожидать, что сумеем обнаружить здесь процесс развития чрезвычайно своеобразный и глубоко отличный от того, который мы наблюдали при эволюции от обезьяны к человеку.

Скажем заранее, что процесс превращения примитивного человека в культурного *по самой природе своей* отличен от процесса превращения обезьяны в человека. Или иначе: процесс исторического развития поведения человека и процесс его биологической эволюции не совпадают, и один не является продолжением другого, но каждый из этих процессов подчинен своим особым законам.

#### § 4. Память примитивного человека

Обратимся теперь непосредственно к конкретному материалу исследований и постараемся выяснить, в чем заключается своеобразие исторического развития поведения человека. Мы для этого не станем касаться всех решительно сторон и областей в поведении примитива. Мы остановимся только на трех важнейших интересующих нас сейчас областях, которые позволят нам прийти к некоторым общим выводам относительно развития поведения в целом. Мы рассмотрим сперва память, затем мышление и речь примитивного человека, его числовые операции и постараемся установить, в каком направлении развиваются эти три функции.

Начнем с памяти. Все наблюдатели и путешественники единогласно прославляли необычайную память примитивного человека. Леви-Брюль указывает со всей справедливостью, что в

психике и поведении примитивного человека память играет гораздо более значительную роль, чем в нашей умственной жизни, потому что определенные функции, которые она выполняла некогда в нашем поведении, выделились из нее и трансформировались.

Наш опыт конденсируется в понятиях, и мы поэтому свободны от необходимости сохранять огромную массу конкретных впечатлений. У примитивного же человека почти весь опыт опирается на память. Однако память примитива отличается от нашей не только количественно — она имеет, как говорит Леви-Брюль, особую тоналность, отличающую ее от нашей.

Постоянное употребление логических механизмов, абстрактных понятий глубоко видоизменяет работу нашей памяти. Примитивная память одновременно и очень верна, и очень аффективна. Она сохраняет представления с огромной роскошью деталей и всегда в том же порядке, в каком они в действительности связаны одни с другими. Во многих случаях, отмечает этот автор, механизм памяти заменяет примитиву логический механизм: если одно представление воспроизводит другое, это последнее принимается за следствие или заключение. Поэтому знак почти всегда принимается за причину.

«По всему этому, — говорит он, — мы должны ожидать, что встретим крайне развитую память у примитивов». Удивление путешественников, сообщающих о необыкновенных свойствах примитивной памяти, Леви-Брюль объясняет тем, что эти наблюдатели наивно полагают, будто память примитивного человека имеет те же самые функции, что и наша. Кажется, что она производит чудеса, в то время как она функционирует совершенно нормально.

Во многих отношениях, говорят Спенсер и Джиллен об австралийцах, их память феноменальна. Туземец не только узнает след каждого животного и каждой птицы, но, посмотрев на землю, он сейчас же по направлению последних следов скажет вам, где находится животное. Как это ни кажется необыкновенным, туземец узнает отпечаток шагов знакомого человека.

Рот отмечает также «чудесное могущество памяти» у туземцев Квинсленда. Он слышал, как они повторяли цикл песен, которые в целом требовали более пяти ночей, для того чтобы быть полностью воспроизведенными. Эти песни воспроизводятся с удивительной точностью. Наиболее удивительным в этом является то, что они исполняются племенами, говорящими на других языках, на других наречиях и живущими на расстоянии более сотни километров одно от другого.



Ливингстон отмечает выдающуюся память туземцев Африки. Он наблюдал ее у посланников вождей, которые переносят на громадные расстояния очень длинные послания и повторяют их слово в слово. Они движутся обычно вдвоем или втроем и каждый вечер в течение дороги повторяют наизусть поручение, для того чтобы не изменить его точный текст. Один из доводов туземцев против того, чтобы обучаться письму, заключается в том, что эти вестники могут передавать известия на расстоянии не хуже, чем письма.

Наиболее часто наблюдаемая форма выдающейся памяти у примитивного человека — это так называемая топографическая память, т. е. память на местности. Она сохраняет до мельчайших деталей образ местности, который позволяет примитивному человеку находить дорогу с уверенностью, поражающей европейца.

Эта память, как говорит один из авторов, граничит с чудом. Индейцам Северной Америки достаточно быть один раз в местности, для того чтобы иметь совершенно точный образ ее, который никогда не стирается. Как бы ни был обширен и мало вырублен лес, они движутся по нему без замешательства, как только они сориентировались.

Так же хорошо они ориентируются на море. Шарлевуа видит в этом врожденную способность. Он говорит: «Они рождаются с этим талантом, это не результат ни их наблюдений, ни большого упражнения. Дети, которые никогда еще не выходили за пределы деревни, передвигаются так же уверенно, как те, которые уже объехали всю страну». Приводя рассказы путешественников относительно необычайной топографической памяти, кажущейся чудесной, Леви-Брюль замечает, что во всем этом нет другого чуда, кроме хорошо развитой локальной памяти. Фон-ден-Штейнен рассказывает о примитиве, которого он наблюдал: он видел все, слышал все, накапливал в своей памяти самые незначительные детали, так что автор с трудом мог поверить, что кто-нибудь мог без письменных знаков запомнить столько. Он имел карту в своей голове, или, лучше сказать, он удерживал в определенном порядке огромное количество фактов независимо от их важности.

Это необычайное развитие конкретной памяти, которой поражает примитивный человек и которая воспроизводит с точностью малейшие детали прежних восприятий в таком же порядке, в каком они следовали, обнаруживается, как говорит Леви-Брюль, и в богатстве словаря, и в грамматической сложности языка примитивного человека.

Любопытно, что те же самые люди, которые говорят на этих языках и которые обладают этой выдающейся памятью, например, в Австралии или на севере Бразилии не могут сосчитать больше двух или трех. Малейшее абстрактное размышление настолько отпугивает их, что они объявляют себя сейчас же усталыми и отказываются.

«У нас, — говорит Леви-Брюль, — память сведена, поскольку это касается интеллектуальных функций, к подчиненной роли сохранения результатов, приобретенных логической разработкой понятий. Копиист XI века, который терпеливо воспроизводил страницу за страницей манускрипта, не дальше отстоит от ротационной машины современных больших газет, которые печатают сотни тысяч экземпляров в несколько часов, чем дологическое мышление примитивного человека, для которого существует только связь представлений и который опирается почти исключительно на память, от логической мысли, пользующейся абстрактными понятиями».

Однако подобная характеристика памяти примитивного человека является крайне односторонней. Она несомненно верна в самом основном и существенном, и мы сейчас постараемся показать, как можно объяснить научно это превосходство примитивной памяти. Однако наряду с этим, для того чтобы получить правильное представление относительно деятельности этой памяти, следует указать и на то, что в очень многих отношениях память примитивного человека глубоко уступает памяти культурного.

Австралийский ребенок, не выходявший никогда за пределы своей деревни, поражает культурного европейца своим умением ориентироваться в стране, в которой он никогда не был. Однако европейский школьник, прошедший хотя бы один курс географии, усвоил столько, сколько ни один взрослый примитивный человек никогда не сумеет усвоить в продолжение всей своей жизни.

Наряду с превосходным развитием *натуральной, или естественной, памяти*, которая как бы с фотографической точностью запечатлевает внешние впечатления, примитивная память отличается еще качественным своеобразием своих функций. Эта вторая сторона, будучи сопоставлена с превосходством естественной памяти, проливает некоторый свет на природу памяти примитивного человека.

Леруа с полным основанием сводит все особенности примитивной памяти к ее *функции*. Примитивный человек должен полагаться только на свою непосредственную память: у него нет письменности. Поэтому нередко сходную форму примитивной па-

мнети мы находим у безграмотных людей. Умение же примитивно-го человека ориентироваться и восстанавливать сложные события по следам, по мнению этого автора, должно найти свое объяснение не в превосходстве непосредственной памяти, а в другом. Большинство черных, как свидетельствует один из наблюдателей, не находят дороги без какого-нибудь внешнего знака; ориентировка, полагает Леруа, не имеет ничего общего с памятью. Равным образом, когда примитивный человек по следам восстанавливает какое-либо событие, он пользуется услугами памяти не больше, чем когда суд раскрывает по следам преступление. Здесь выступают на первый план функции наблюдательности и умозаключения скорее, чем память. У примитива более развиты благодаря упражнению органы восприятия — в этом все отличие его от нас в этой области. Но это умение разбираться в следах не плод инстинкта, а результат воспитания. У примитивов это умение развивается с раннего детства. Родители учат детей распознавать следы. Взрослые имитируют следы животных, а дети их воспроизводят.

В самое последнее время экспериментальная психология открыла особую, чрезвычайно интересную форму памяти, которую многие психологи сопоставляют с удивительной памятью примитивного человека. Хотя экспериментальные исследования над примитивным человеком в этой области только сейчас производятся и еще не закончены, тем не менее факты, с одной стороны, собранные психологами в своих лабораториях, а с другой стороны, сообщенные исследователями и путешественниками о примитивном человеке, настолько близко совпадают друг с другом, что дают возможность с большой вероятностью предположить, что примитивного человека отличает главным образом именно эта форма памяти.

Сущность этой формы памяти заключается в том, что человек может, как говорит Йенш, в буквальном смысле слова снова видеть раз показанный предмет или картину тотчас же после рассмотрения их или даже после долгого промежутка времени. Таких людей называют эйдетиками, а самую форму памяти — эйдетизмом. Это явление открыл Урбанчич в 1907 г., но только в последнее десятилетие эти явления были экспериментально исследованы и изучены в школе Йенша.

В главе о психологии ребенка мы остановимся подробнее на результатах исследования эйдетизма. Сейчас скажем только, что исследование обычно производится так. Ребенку-эйдетику показывают в течение короткого срока (около 10 — 30 с) какую-нибудь сложную картину с огромным множеством деталей. После этого картина убирается, и перед ребенком ставится серый экран, на

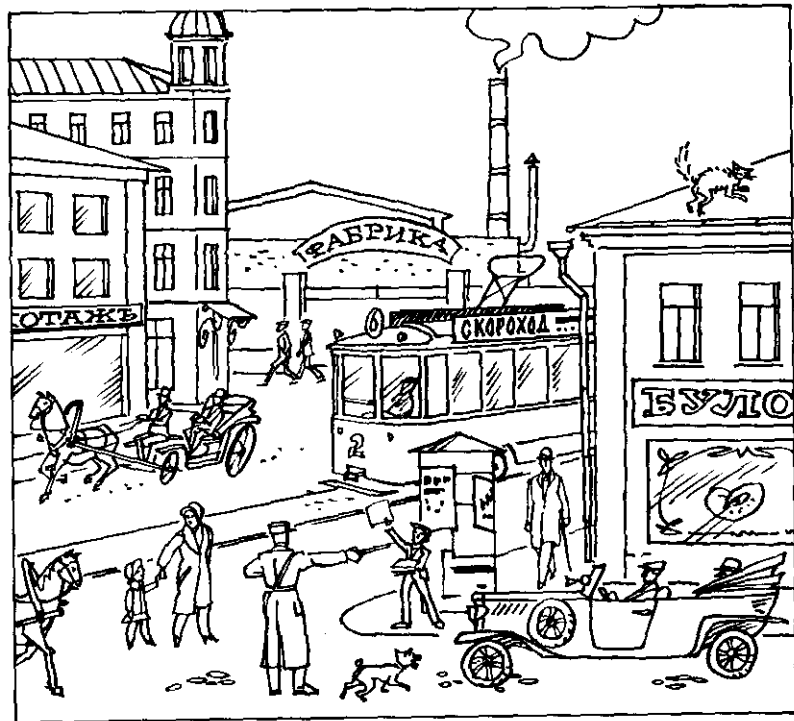


Рис. 13.

котором ребенок продолжает видеть отсутствующую картину со всеми деталями, так что он рассказывает подробно то, что перед ним находится, читает надписи и т. д.

В качестве примера, поясняющего характер и особенности эйдетической памяти, мы приводим на рис. 13 снимок с картин-ки, которая предъявлялась в опытах нашей сотрудницы К. И. Вересотской детям-эйдетикам. Ребенок после краткого показывания картины (30 с) продолжает видеть ее образ на экране, что устанавливается путем контрольных вопросов и сличения ответов с оригиналом картины. Ребенок по буквам читает текст, подсчитывает окна в каждом этаже, определяет взаимное расположение предметов и их частей, называет их цвет, описывает мельчайшие детали.

Исследование показывает, что подобный эйдетический образ подчиняется всем законам восприятия. Физиологической основой подобной памяти является, очевидно, инерция зрительного нервно-

го возбуждения, длящаяся после того, как раздражитель, вызывающий в зрительном нерве возбуждение, уже перестал действовать. Подобного рода эйдети́зм наблюдается в области не только зрительных, но и слуховых и осязательных ощущений.

У культурных народов эйдети́зм распространен большей частью среди детей; среди взрослых эйдети́зм представляет редкое исключение. Психологи предполагают, что эйдети́зм представляет собою раннюю, примитивную фазу в развитии памяти, которая проходит у ребенка обычно к поре полового созревания и редко сохраняется у взрослого человека. Она распространена больше среди умственно отсталых и культурно недоразвитых детей.

Эта форма памяти является биологически очень важной постольку, поскольку она, развиваясь, превращается в две другие формы памяти. Во-первых, как показывает исследование, эйдети́ческие образы по мере развития сливаются с нашими восприятиями и придают этим восприятиям устойчивый, постоянный характер. Во-вторых, они превращаются в зрительные образы памяти в собственном смысле этого слова.

Исследователи полагают, таким образом, что эйдети́ческая память является первичной, недифференцированной стадией единства восприятия и памяти, которые дифференцируются и развиваются в две отдельные функции. Эйдети́ческая память лежит в основе всякого образного, конкретного мышления.

Йенш на основе всех приведенных нами выше данных, собранных Леви-Брюлем относительно выдающейся памяти примитивного человека, приходит к заключению, что эта память обнаруживает родство с эйдети́ческой формой. Далее способ восприятия, мышления и представления примитивного человека указывает также на то, что он в своем развитии стоит чрезвычайно близко к эйдети́ческой фазе. Так, например, часто встречающиеся среди примитивных народов визионеры сближаются Йеншем с двумя исследованными им мальчиками-эйдети́ками, которые видели временами совершенно необыкновенные места и здания.

Если принять во внимание, что у эйдети́ков наглядные образы могут быть усилены при помощи аффективного возбуждения, упражнения, а также всяких фармакологических средств, станет вполне вероятным предположение известного фармаколога Левина, что шаманы и врачи у примитивных народов искусственно возбуждают в себе эйдети́ческую деятельность. Также мифологическое творчество примитивного человека стоит близко к визионерству и к эйдети́зму.

Сопоставляя все эти данные с данными эйдети́ческих исследований, Йенш приходит к выводу, что все известное нам относительно памяти примитивного человека указывает на то, что мы

имеем дело у примитивного человека с эйдетической фазой развития памяти. Эйдетизмом, по мнению Йенша, объясняются и мифологические образы.

«Надо только прибавить, — говорит Блонский, — что подобные, возникшие в соответствующей обстановке, под влиянием сильных эмоций у примитивных эйдетиков лешие, русалки и т. д. потом закрепляются длительным настроением, соответствующим длительным состоянием эйдетиков. Эйдетизм у примитивных народов объясняет не только возникновение мифологических образов, но и некоторые особенности примитивного языка и искусства».

Язык примитивного человека, о котором мы будем говорить еще ниже, поражает по сравнению с языками культурных народов своей живописностью, обилием конкретных подробностей и слов, своей образностью. Относительно искусства еще Вундт ставил вопрос: почему изобразительное искусство пещерных людей процветало именно во мраке пещер? «Может быть, — говорит Блонский, — это объясняется тем, что в темноте, как и при закрытых глазах, эйдетические образы ярче».

К подобным же выводам приходит в итоге изучения этого вопроса и Данцель. Память, по его мнению, играет в умственной жизни примитивного человека неизмеримо большую роль, чем у нас. В деятельности этой памяти поражает нас «непереработанность материалов», сохраняемых памятью, последовательная фотографичность ее работы. Репродуктивная функция этой памяти значительно выше, чем у нас.

Примитивная память, как отмечает Данцель, помимо того, что она верна и объективна, поражает еще своим комплексным характером. Примитив в своей памяти вовсе не переходит с усилием от одного элемента к другому, потому что его память сохраняет ему целое явление как целое, а не части его.

Наконец, последнее, отличающее, по мнению Данцеля, память примитивного человека, заключается в том, что примитивный человек еще плохо разделяет восприятие от воспоминания. Объективное, действительно воспринимаемое им, сливается для него с только воображаемым или представляемым. Это последнее, конечно, тоже может найти себе объяснение только в эйдетическом характере воспоминаний примитивного человека.

Таким образом, органическая память примитивного человека, или так называемая мнема, основа которой заложена в пластичности нашей нервной системы, т. е. в способности ее сохранять следы от внешних возбуждений и воспроизводить эти следы, — эта память достигает у примитива своего максимального развития. Дальше ей развиваться некуда.

По мере вrastания примитивного человека в культуру мы будем наблюдать спад этой памяти, уменьшение ее, подобно тому как мы наблюдаем это уменьшение по мере культурного развития ребенка. Встают вопросы: по какому же пути идет развитие памяти примитивного человека? Улучшается ли и совершенствуется ли та память, которую мы только что описали при переходе от более низкой, примитивной ступени к относительно более высокой?

Исследования единогласно показывают, что этого не происходит в действительности. Здесь сразу мы должны отметить ту своеобразную и самую существенную для исторического развития поведения форму, которую принимает в данном случае память. Стоит нам только объективно взглянуть на примитивную память, чтобы заметить, что эта память функционирует стихийно, как естественная, природная сила.

Человек пользуется ею, но не господствует над ней, говоря словами Энгельса, приведенными выше. Напротив, эта память господствует над ним. Она подсказывает ему нереальные вымыслы, воображаемые образы и конструкции. Она приводит его к созданию мифологии, которая часто является препятствием на пути к развитию его опыта, заслоняя субъективными построениями объективную картину мира.

Историческое развитие памяти начинается с того момента, как человек переходит впервые от пользования своей памятью, как естественной силой, к господству над ней. Это господство, как и всякое господство над какой-нибудь природной или естественной силой, означает только то, что на известной ступени развития человек накапливает достаточный — в данном случае — психологический опыт, достаточное знание законов, по которым работает память, и переходит к использованию этих законов. Не следует представлять себе этот процесс накопления психологического опыта, приводящий к овладению поведением, как процесс сознательного опыта, намеренного накопления знаний, теоретического исследования. Этот опыт следовало бы назвать «наивной психологией» по аналогии с тем, что Кёлер в поведении обезьян назвал «наивной физикой», имея в виду наивный опыт обезьяны относительно физических свойств собственного тела и предметов внешнего мира.

От следопытства примитива, т. е. от его умения пользоваться следами как знаками, указывающими и напоминающими целые сложные картины, от использования знака примитивный человек на известной ступени своего развития приходит впервые к *созданию искусственного знака*. Этот момент есть поворотный момент в истории развития его памяти.

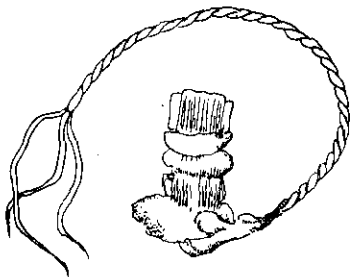


Рис. 14.

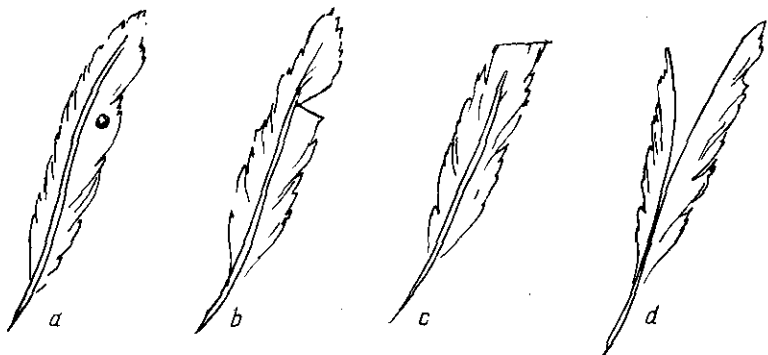


Рис. 15.

Турнвальд рассказывает о примитивном человеке, который находился у него в услужении, что тот всякий раз, когда его посылали в главный лагерь с поручениями, брал с собой «вспомогательные орудия памяти», чтобы запомнить все поручения. Турнвальд полагает вопреки Данцелю, что при употреблении подобных вспомогательных средств вовсе нет необходимости думать относительно их магического происхождения. Письмо в своем первоначальном виде выступает именно в качестве подобного вспомогательного средства, при помощи которого человек начинает господствовать над своей памятью.

Письмо наше имеет очень длинную историю. Первоначальными орудиями памяти являются *знаки*, как, например, золотые фигурки западноафриканских рассказчиков, каждая из которых напоминает какую-нибудь особую сказку. Каждая из таких фигурок представляет как бы первоначальное название длинного рассказа, например луна, месяц. В сущности, мешок с такими фигурками



представляет примитивное оглавление для такого первобытного рассказчика.

Другие знаки носят абстрактный характер. Типичным представителем такого абстрактного знака, как говорит Турнвальд, является узелок, завязываемый на память, как это мы делаем еще и сейчас. Благодаря тому, говорит этот автор, что эти орудия памяти употребляются одинаковым образом внутри определенной группы, они становятся условными и начинают служить целям сообщения.

На рис. 14 приведено письмо примитивного человека. Письмо состоит из камышового шнура, двух кусков камыша, четырех раковин и куска шелухи от фруктов. Это письмо неизлечимо больного отца семейства к друзьям и родственникам следующего содержания: болезнь принимает неблагоприятное течение, она становится все хуже, наша единственная помощь — от Бога.

Подобные знаки у индейцев племени дакота получили общее значение. Так, перо *a* (рис. 15) с продырявленным отверстием означает, что носитель убил врага, перо *b* с вырезанным треугольником означает, что он перерезал горло врагу и скальпировал его; перо *c* с отрезанным концом означает, что он ему перерезал горло. Расщепленное перо *d* означает, что он его ранил.

Самыми древними памятниками письма являются приводимые на рис. 16 и 17 квипу (узлы — на перуанском языке), употреблявшиеся в древнем Перу точно так же, как в Древнем Китае, Японии и других странах. Это условные вспомогательные знаки для памяти, широко распространенные среди примитивных народов, требующие точного знания со стороны того, кто завязывал все эти узлы.

Подобные квипу употребляются и сейчас в Боливии пастухами для счета стад, в Тибете и других местах. Система знаков и счета стоит в связи с хозяйственным укладом этих народов. Не только узлы, но также и цвет шнура имеет свое значение. Белые шнуры обозначают серебро и мир, красные — воинов или войну, зеленые — маис, желтые — золото.

Клод считает первой стадией в развитии письменности мнемоническую стадию. Любой знак или предмет является средством мнемотехнического запоминания. Геродот рассказывает, что, когда Дарий приказал индейцам остаться для охраны плавучего моста через реку Истер, он затянул 60 узлов на ремне, говоря: «Люди Ионии, возьмите этот ремень и поступайте так, как я скажу вам. Как только вы увидите, что я выступил против скифов, с этого дня вы начнете ежедневно развязывать по одному узлу и, когда найдете, что дни, обозначенные этими узлами, уже миновали, то можете отправиться к себе домой».

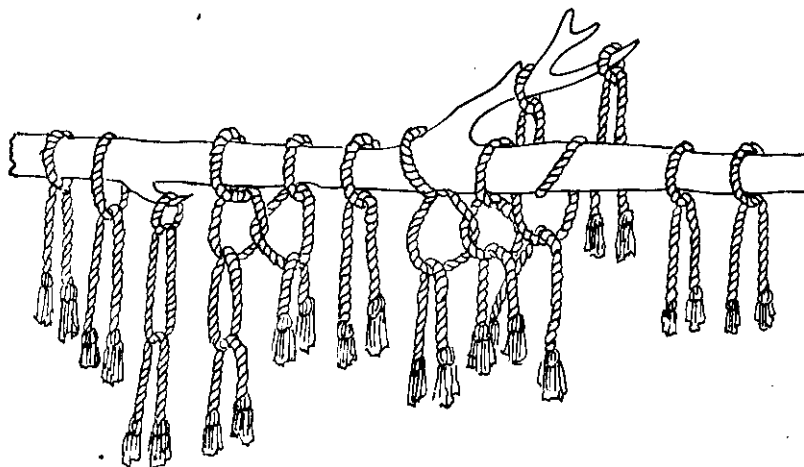


Рис. 16.

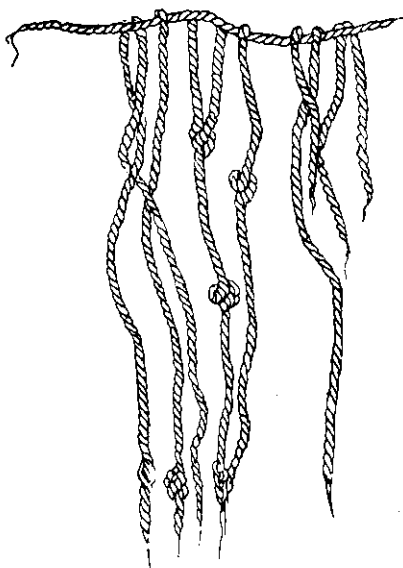


Рис. 17.

Подобный узел, завязываемый на память, и является, видимо, древнейшим памятником того, как человек от пользования своей памятью перешел к господству над ней.

Эти квипу употреблялись в древнем Перу для ведения летописей, для передачи приказаний отдельным провинциям, для подробных сведений о состоянии армий и даже для сохранения воспоминаний о покойнике, в могилу которого опускались квипу.

Перуанское племя чуди, как указывает Тейлор, в каждом городе имело специального офицера, функцией которого было связывать и истолковывать квипу. Хотя офицеры эти достигали большого совершенства в своем искусстве, они редко бывали способны читать чужое квипу, переданное без всяких устных комментариев. Когда кто-нибудь являлся из дальней провинции, то вместе с квипу необходимо было дать объяснения: касается ли это квипу переписи, сборов податей, войны и т. д.

Путем постоянной практики эти чиновники так усовершенствовали систему, что были способны регистрировать при помощи узлов все важнейшие государственные факты и изображать ими законы и события. Тейлор указывает, что до сих пор остались еще в живых в южном Перу индейцы, которые прекрасно знакомы с содержанием некоторых исторических квипу, сохранившихся от древних времен, но они держат свое знание в глубоком секрете и особенно тщательно скрывают его от белых людей.

Чаще всего в настоящее время подобная система мнемотехники, пользующаяся узлами, употребляется для запоминания различных счетных операций. У пастухов Перу на одной веревке квипу регистрируются быки, на второй — коровы, которые разделяются на молочных и недоящихся, далее идут телята, овцы и т. д. На особых веревках с помощью узлов записываются продукты скотоводства. Цвет веревки и различный способ завязывания узла являются указанием на характер записи.

Мы не станем останавливаться на дальнейшей истории развития человеческого письма, скажем только, что в этом переходе от естественного развития памяти к развитию письма, от эйдетизма к использованию внешних систем знаков, от мнемны к мнемотехнике заключается самый существенный перелом, который и определяет собою весь дальнейший ход культурного развития человеческой памяти. На место внутреннего развития становится развитие внешнее.

Память совершенствуется постольку, поскольку совершенствуются системы письма, системы знаков и способы их использования. Совершенствуется то, что в древние и средние века называлось *memoria technica* или искусственной памятью. Историческое развитие человеческой памяти сводится в основном и в главном к раз-

витию и совершенствованию тех вспомогательных средств, которые вырабатывает общественный человек в процессе своей культурной жизни.

При этом, само собой разумеется, и естественная, или органическая, память не остается неизменной, но, однако, ее изменения определяются двумя существенными моментами. Во-первых, тем, что эти изменения не самостоятельны. Память человека, умеющего записывать то, что ему надо запомнить, используется и упражняется и, следовательно, развивается в ином направлении, чем память человека, который совершенно не умеет пользоваться знаками. Внутреннее развитие и совершенствование памяти, таким образом, являются уже не самостоятельным процессом, а зависимым и подчиненным, определяемым в своем течении изменениями, идущими извне — из социальной среды, окружающей человека.

Во-вторых, тем, что эта память совершенствуется и развивается очень односторонне. Она приспособляется к тому виду письма, который господствует в данном обществе, и, следовательно, во многих других отношениях она не развивается вовсе, а деградирует, инволюционирует, т. е. свертывается или претерпевает обратное развитие.

Так, например, выдающаяся натуральная память примитивного человека в процессе культурного развития сходит все более и более на нет, и поэтому глубоко прав был Болдуин, когда он защищал положение, что всякая эволюция есть в такой же мере инволюция, т. е. всякий процесс развития включает в себе, как свою составную часть, и обратные процессы свертывания, отмирания старых форм.

Стоит только сравнить память африканского посла, передающего слово в слово длинное послание вождя какого-нибудь африканского племени и пользующегося исключительно натуральной эйдетической памятью, с памятью перуанского «офицера узлов», в обязанности которого входило завязывание и чтение квипу, для того чтобы увидеть, в каком направлении идет развитие человече-



Рис. 18.

ской памяти по мере роста культуры и, главное, чем и как оно направляется.

«Офицер узлов» стоит на лестнице культурного развития памяти выше, чем африканский посол, не потому, что его естественная память стала выше, а потому, что он научился лучше пользоваться своей памятью, господствовать над ней при помощи искусственных знаков.

Поднимемся еще на одну ступень выше и обратимся к памяти, которая соответствовала следующей стадии в развитии письма. На рис. 18 изображен пример так называемого пиктографического письма, т. е. письма, пользующегося наглядными изображениями для передачи известных мыслей и понятий. На березовой коре девушка (из племени оджибва) пишет письмо своему возлюбленному в белую землю. Ее тотем — медведь, его тотем — муравьиная куколка. Оба эти изображения обозначают, от кого и кому послано письмо. Две линии, проведенные от их стоянок, сливаются и продолжают затем до местности, лежащей между двумя озерами. От этой линии ответвляется тропинка к двум палаткам. Здесь живут в своих палатках три девушки, обращенные в католическую веру, что выражено тремя крестами. Левая из палаток открыта, и из нее просунута рука с манящим жестом. Рука принадлежит автору письма и делает индейский знак приветствия своему возлюбленному. Этот знак выражается таким положением ладони, при котором ладонь обращена вперед и книзу, а вытянутый указательный палец — к месту, занятому говорящим, обращая внимание приглашаемого лица на тропинку, по которой ему следует идти.

Письмо, находящееся на этой стадии, требует уже опять совершенно иной формы работы памяти (см. рис. 19). Еще иная форма наступает тогда, когда человечество переходит к идеографическому или иероглифическому письму, пользующемуся символами, значение которых по отношению к предметам становится все более и более отдаленным. Маллери правильно указывает, что в большинстве это были только мнемонические записи, но они трактовались в связи с материальными предметами, употребляемыми с мнемоническими целями.

Нельзя представить историю более замечательную и более характерную для психологии человека, чем историю развития письма, историю, показывающую, как человек стремится овладеть своей памятью. Таким образом, решительный шаг в переходе от естественного развития памяти к культурному заключается в перевале, который отделяет мнему от мнемотехники, пользование памятью — от господствования над ней, биологическую форму ее развития — от исторической, внутренней — от внешней.

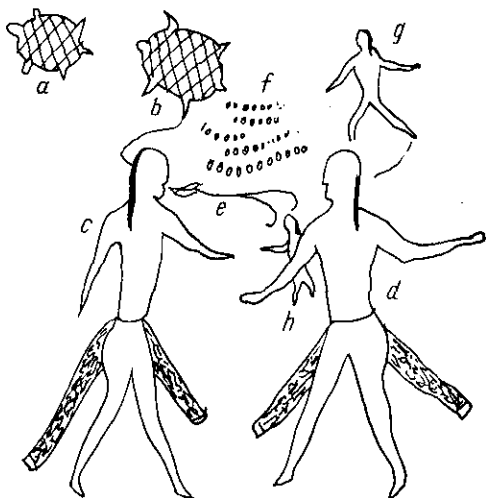


Рис. 19. Образец пиктографического письма: письмо индейца (c) к сыну (d). Имена отца и сына обозначены маленькими фигурками над головами (черепахи — a и b и человечек — g). Содержание письма: отец зовет сына приехать (линии изо рта отца — e и маленькая фигурка человека с правой руки у сына — h, стоимость поездки — 53 доллара — отец пересылает ему (маленькие кружки (f) сверху).

Заметим, что первоначальной формой такого господства над памятью являются знаки, употребляемые не столько для себя, сколько для других, с социальными целями, которые только впоследствии становятся и знаками для себя. Арсеньев, известный исследователь Уссурийского края, рассказывает о том, как он посетил селение удегейцев, расположенное в очень глухой местности. Удегейцы жаловались ему на притеснения, которые они терпят от китайцев, и просили по приезде во Владивосток передать это русским властям и просить защиты.

Когда путешественник на другой день покидал селение, удегейцы вышли толпой проводить его до околицы. Из толпы вышел седой старик, он подал ему коготь рыси и велел положить в карман, для того чтобы он не забыл просьбы их относительно Ли-Тан-Куя. Не доверяя естественной памяти, удегеец вводит искусственный знак, не имеющий никакого прямого отношения к тем вещам, которые должен запомнить путешест-

венник, и являющийся подсобным техническим орудием памяти, средством направить запоминание по желаемому руслу и овладеть его течением.

Вот эта операция запоминания при помощи когтя рыси, обращенная сначала к другому, а потом к самому себе, и знаменует собою первые начатки того пути, по которому идет развитие памяти у культурного человека. Все то, что помнит и знает сейчас культурное человечество, весь опыт, который накоплен в книгах, памятниках, рукописях, — все это огромное расширение человеческой памяти, являющееся необходимым условием исторического и культурного развития человека, обязано именно внешнему, основанному на знаках человеческому запоминанию.

## § 5. Мышление в связи с развитием языка в примитивном обществе

Тот же самый путь развития замечаем мы и в другой, не менее центральной области психологии примитивного человека, именно в области речи и мышления. И здесь, как и в области памяти, нас поражает с первого взгляда то, что примитивный человек отличается от культурного не только тем, что его язык оказывается беднее средствами, грубее и менее развитым, чем язык культурного человека, — все это, конечно, так, но одновременно с этим язык примитивного человека поражает нас именно огромным богатством словаря. Вся трудность понимания и изучения этих языков заключается в том, что они неизмеримо превосходят языки культурных народов по степени богатства, обилия и роскоши различных обозначений, отсутствующих в нашем языке вовсе.

Леви-Брюль и Йенш со всей справедливостью указывают на то, что эти двойственные особенности языка примитивного человека стоят в тесной связи с его необыкновенной памятью. Первое, что поражает нас в языке примитивного человека, — это именно огромное богатство обозначений, которыми он располагает. Весь этот язык насквозь проникнут конкретными обозначениями, и для выражения этих конкретных деталей он пользуется огромным количеством слов и выражений.

Гатчет говорит: «Мы имеем намерение говорить точно — индеец говорит рисуя; мы классифицируем — он индивидуализирует». Поэтому речь примитивного человека действительно напоминает бесконечно сложное по сравнению с нашим языком, точнейшее, пластическое и фотографическое описание какого-нибудь события с мельчайшими подробностями.

Развитие языка поэтому характеризуется тем, что это огромное изобилие конкретных терминов начинает все больше и больше исчезать. В языках австралийских народов, например, почти совершенно отсутствуют слова, обозначающие общие понятия, но они наводнены огромным количеством специфических терминов, различающих точно отдельные признаки и индивидуальность предметов.

Аир говорит об австралийцах: «У них нет общих слов, как дерево, рыба, птица и т. д., но исключительно специфические термины, которые применяются к каждой особой породе дерева, птицы и рыбы». Также у других примитивных народов наблюдается такое явление, когда нет соответствующего слова для дерева, рыбы, птицы, а все предметы и существа обозначаются именами собственными.

Тасманцы не имеют слов для обозначения таких качеств, как сладкий, горячий, твердый, холодный, длинный, короткий, круглый. Вместо «твердый» они говорят: *как камень*, вместо «высокий» — *высокие ноги*, «круглый» — *как шар*, *как луна* и еще прибавляют жест, который это поясняет. Также на архипелаге Бисмарка отсутствуют всякие обозначения для цветов. Цвета обозначаются точно таким же образом, путем названия предмета, с которыми они имеют сходство.

«В Калифорнии, — говорит Поуэрс, — нет ни рода, ни вида. Каждый дуб, каждая сосна, каждая трава имеют свое особое имя». Все это создает огромное богатство словаря примитивных народов. Австралийцы имеют отдельные имена почти для каждой мельчайшей части человеческого тела: так, например, вместо слова «рука» у них существует много отдельных слов, обозначающих верхнюю часть руки, ее переднюю часть, правую руку, левую руку и т. д.

Маори имеют необычайно полную систему номенклатуры для флоры Новой Зеландии. У них существуют особые имена для мужских и женских деревьев определенных пород. У них есть также отдельные имена для деревьев, листья которых меняют форму в различные моменты их роста. Птицы коко или туи имеют четыре имени: два — для мужского рода и два — для женского — в зависимости от времени года; есть отдельные слова, обозначающие хвост птицы, хвост животного и хвост рыбы. Имеются три слова для обозначения крика попугая: крика попугая в спокойном состоянии, его крика, когда он сердится и когда испуган.

В Южной Африке у племени бавенда есть специальное название для каждого вида дождя. В Северной Америке индейцы имеют такое огромное количество точных, почти научных определений



для различных форм облаков и для описания неба, которые совершенно непереводаемы.

«Было бы напрасно, — продолжает Леви-Брюль, — искать чего-нибудь подобного в европейских языках». Одно из племен имеет, например, особое слово для обозначения солнца, светящего между двумя облаками. Число существительных в их языках почти неисчислимо. У одного из северных примитивных народов, например, есть множество терминов для обозначения различных пород оленей. Есть специальное слово для обозначения оленя одного года, двух, трех, четырех, пяти, шести и семи лет, 20 слов для льда, 11 слов для холода, 41 слово для снега в различных формах, 26 глаголов, чтобы обозначить замерзание и таяние, и т. д. Вот почему «они сопротивляются попытке сменить этот язык на норвежский, слишком бедный для них с этой точки зрения». Этим же самым объясняется огромное количество собственных имен, даваемых самым различным отдельным предметам.

В Новой Зеландии у маори каждая вещь имеет свое особое собственное имя. Их лодки, их дома, их оружие, даже их одежда — каждый предмет получает свое собственное имя. Все их земли и все их дороги имеют свои названия, берега вокруг островов, лошади, коровы, свиньи, даже деревья, скалы, источники. В Южной Австралии каждая цепь гор имеет свое имя, каждая гора — свое. Туземец может сказать точно имя каждого отдельного холма, так что, оказывается, география примитивного человека гораздо богаче нашей.

В области Замбези каждое возвышение, каждый холм, каждая горка, каждая вершина в цепи имеет свое название, точно так же как каждый ключ, каждая равнина, каждый луг, каждая часть и каждое место страны, таким образом, обозначено специальным именем. Все это потребовало бы целой жизни человека, для того чтобы расшифровать смысл и значение всех этих обозначений, как говорит Ливингстон.

Это богатство словаря стоит в прямой зависимости от конкретности и точности языка примитивного человека. Его язык соответствует его памяти и его мышлению. Он так же точно фотографирует и воспроизводит весь свой опыт, как запоминает его. Он не умеет выражаться абстрактно и условно, как культурный человек.

Поэтому там, где европеец тратит одно-два слова, примитивный человек тратит иногда десять. Так, например, фраза «Человек убил кролика» на языке индейцев племени понка буквально передается так: «Человек он один живой стоящий убил нарочно пустить стрелу кролика его одного живого сидящего».

Эта точность сказывается и в определении некоторых сложных понятий. Так, например, у ботакудов слово «остров» передается четырьмя словами, которые буквально означают следующее: «земля вода середина находится здесь». Вернер сопоставляет с этим английский «биджен» — жаргон, на котором для слова «рояль» полупримитивы создали обозначение: «ящик, когда его бьют, он кричит».

Такое пластическое, подробное описание представляет и большое преимущество, и большой недостаток примитивного языка. Большое преимущество — потому, что этот язык создает знак почти для каждого конкретного предмета и позволяет примитивному человеку с необычайной точностью иметь в своем распоряжении как бы двойники всех предметов, с которыми он имеет дело. Понятно поэтому, что примитивному человеку при его способе жизни перейти от своего языка к европейскому значит сразу лишиться могущественнейшего средства ориентировки в жизни.

Однако наряду с этим язык бесконечно загружает мышление деталями и подробностями, не перерабатывает данные опыты, воспроизводит их не сокращенно, а в той полноте, как они были в действительности. Для того чтобы сообщить простую мысль, что человек убил кролика, индеец должен со всеми подробностями нарисовать в мельчайших деталях всю картину этого происшествия. Поэтому слова примитивного человека еще не отдифференцировались от вещей, они еще тесно связаны с непосредственным чувственным впечатлением.

Вертгеймер рассказывает о том, как полупримитивный человек, которого обучали европейскому языку, отказался в упражнениях перевести фразу «Белый человек убил шесть медведей». Белый человек не может убить шесть медведей, а потому и самое такое выражение кажется невозможным. Это показывает, до какой степени еще язык понимается и применяется исключительно как прямое отражение действительности и насколько еще он не приобрел самостоятельной функции.

Аналогичный случай сообщает Турнвальд. Примитивный человек по его просьбе считает. Так как считать нужно непременно что-нибудь, он считает воображаемых свиней. Дойдя до 60, он останавливается и заявляет, что дальше считать нельзя, потому что больше свиней у одного хозяина не бывает.

Операции языка, операции счета оказываются возможными только постольку, поскольку еще связаны с теми конкретными ситуациями, которые их породили. Конкретность и образность примитивного языка сказываются уже в его грамматических формах. Эти грамматические формы направлены на то, чтобы передать мельчайшие конкретные детали. Форма глагола меняется в зави-

симости от тончайшей детали смысла. Так, например, в языке одного примитивного племени вместо общего выражения «мы» существует множество отдельных конкретных выражений: «я и ты», «я и вы», «я и вы двое», «я и он», «я и они», комбинируемых затем с двойственным числом: «мы двое и ты», «мы двое и вы», со множественным: «я, ты и он, или они». В простом спряжении настоящего времени индикатива есть более семидесяти различных форм; различные формы глагола обозначают, был объект живым или неживым. Вместо множественного и единственного числа в некоторых языках употребляются формы двойственного, тройственного, иногда и четверного. Все это стоит в связи с конкретным характером этого языка и с конкретным характером примитивной памяти.

Отдельные приставки имеют своей функцией в этих языках выражать малейшие оттенки, всегда конкретно передаваемые словом. Необычайное богатство глагольных форм в языках индейцев Северной Америки давно описано. Добрицгофер называет язык абипонов самым ужасным из всех лабиринтов. По Вениаминову, язык алеутов способен изменять слово больше чем четырьмястами способами (время, наклонения, лица): каждая из этих форм отвечает отдельному точному нюансу значения.

Многие авторы согласно называют этот язык пикторальным или живописным и отмечают в нем тенденцию «говорить глазами», рисовать и изображать то, что хочешь выразить. Движение в прямом направлении выражается иначе, чем движение в сторону, или по кривой, или на некотором расстоянии от того, кто говорит. «Одним словом, — говорит Леви-Брюль, — в особенности могут быть удержаны и воспроизведены зрительной и мускульной памятью пространственные отношения, которые выражаются с такой точностью в языке кламатов».

Преобладание пространственного элемента действительно выражает основную тенденцию многих примитивных языков. Гатчет устанавливает, что «категории положения пространственной ситуации и расстояния оказываются чрезвычайно важными у примитивных, диких народов и столь же основными, как категории времени и причинности в нашем мышлении». Всякая фраза, всякое предложение должны непременно выразить отношение предметов в пространстве.

«Умственная жизнь примитивных народов, — говорит Леви-Брюль, — требует не только выражения относительного расположения предметов и существ в пространстве и их расстояния. Она удовлетворяется только тогда, когда язык специфицирует и во всем прочем выражение деталей, формы предметов, их размера, их способа движения, различных обстоятельств, в которых они

могут находиться. Для достижения этой цели язык употребляет самые различные средства».

В качестве подобных средств употребляются префиксы и суффиксы, обозначающие форму и движение или форму и размеры, характер среды, в которой происходит движение, положение и т. д. Количество этих добавочных языковых частиц не ограничено. Эта спецификация деталей может быть положительно безгранична в языках примитивных народов. В языке одного из примитивных племен имеется десять тысяч глаголов, число которых должно быть еще увеличено благодаря огромному количеству префиксов и суффиксов. У абипонов число синонимов огромно. Они имеют отдельные слова для того, чтобы сказать — ранить зубами человека или животного, ножом, шпагой, стрелой; отдельные слова, чтобы обозначить — сражаться копьем, стрелами, кулаками, словами; чтобы выразить, что две жены одного мужа дерутся из-за него; отдельные частицы для выражения различного расположения предметов, о которых идет речь, — сверху, снизу, вокруг, в воде, на воздухе и т. д.

Левингстон говорит о южноафриканских племенах, что не недостаток, а колоссальное изобилие слов ужасает путешественников. «Я слышал около 20 терминов, которые обозначали различные способы ходьбы: ходить, наклонясь вперед или откинувшись назад, раскачиваясь, лениво или живо, с важностью, размахивая обеими руками или только одной рукой, с наклоненной или поднятой головой, — каждый из этих способов ходьбы имеет свой особый глагол».

Когда мы обращаемся к выяснению причины подобного характера языка, наряду с пластической и эйдетической памятью примитивного человека мы находим еще вторую причину, имеющую для нас огромное значение при объяснении особенностей этого языка. Эта причина заключается в том, что язык примитивного человека, в сущности говоря, есть двойной язык: с одной стороны, язык слов, с другой — язык жестов. Язык примитивного человека выражает образы предметов и передает их точно так, как они представляются глазам и ушам. Точное воспроизведение — идеал подобного языка.

У этих языков есть общая тенденция, говорит Леви-Брюль, описать не впечатление, полученное субъектом, а форму, контуры, положение, движение, способ действия предметов в пространстве — словом, все, что может быть воспринято и зарисовано. Эту особенность, говорит он, мы можем понять, если вспомним, что эти же самые народы обычно говорят и на другом языке, характер которого с необходимостью определяет способ умственных

операций тех, которые им пользуются, и, следовательно, определяет их способ мышления и характер их устной речи.

Этот второй язык, язык знаков или жестов, чрезвычайно распространен у примитивных народов, но он употребляется в различных случаях и в различных комбинациях с языком словесным. Так, например, у одного племени кроме устного языка, как рассказывает Гезон, есть еще язык знаков. Все животные, туземцы, мужчины и женщины, небо, земля, ходить, садиться на лошадь, прыгать, красть, плавать, есть, пить и сотни других предметов и действий имеют каждый свой особый язык, так что может быть поддержан целый разговор без произнесения единого слова.

Мы не станем сейчас останавливаться на распространенности этого языка жестов и на тех обстоятельствах, при которых он встречается. Укажем только на то огромное влияние, которое этот язык, как орудие мышления, оказывает и на самые операции мышления. Мы при этом легко заметим, что язык и характер его в такой же мере определяют характер и строй умственных операций, в какой свойства орудия определяют строй и состав той или иной трудовой операции человека.

Леви-Брюль приходит к заключению, что в большинстве примитивных обществ существует двойной язык — устный и язык жестов. Поэтому, говорит он, нельзя допустить, чтобы они существовали, не оказывая влияния один на другой. Кешинг в замечательной работе, посвященной «ручным понятиям», исследовал влияние, оказываемое языком руки на язык устный. Он показал, как в одном из примитивных языков порядок членов предложения, способ образования числительных и т. п. обязаны своим происхождением движениям, определяемым рукой.

Как известно, этот автор, для того чтобы изучить умственную жизнь примитивного человека, сам поселился среди примитивного племени и попытался жить не как европеец, а как один из туземцев: участвовал в их церемониях, входил в их различные сообщества. Терпеливо, путем долгой тренировки он привил своим рукам примитивные функции, проделывая руками все то, что они делали в доисторические времена, притом с теми же материалами и в таких же условиях, какие были в ту эпоху, *«когда руки были так соединены с интеллектом, что они составляли его истинную часть»*.

«Прогресс цивилизации, — говорит Леви-Брюль, — обязан взаимному влиянию руки на ум и ума на руку. Чтобы изучить умственную жизнь примитивов, надо вновь обрести движения их рук, движения, от которых неотделимы их язык и их мысль. Примитивный человек, который не говорит без рук, также не думает без них».

Кешинг показал, в какой степени специализация глаголов, которую мы констатируем в языке примитивного человека, является естественным следствием движения руки. «В этом есть, — говорит он, — грамматическая необходимость. В уме примитивного человека должны были возникать мысли-экспрессии, экспрессии-понятия, сложные и, однако, механически систематизированные, так же быстро, как создавалось эквивалентное словесное выражение».

«Говорить руками, — говорит Леви-Брюль, — это в буквальном смысле означает в определенной степени думать при помощи рук. Особенности этих ручных понятий с необходимостью должны обнаружиться в устном выражении мыслей. Два языка, столь различные по составляющим их знакам (жесты и звуки), будут близки друг к другу по своей структуре и по своему способу передавать вещи, действия и состояния. И если, следовательно, устный язык описывает и рисует до последней детали положения, движения, расстояние, формы и контуры, это потому, что язык жестов употребляет точно такие же средства выражения».

Вначале, как показывает исследование, оба эти языка не были изолированы и разъединены, но каждая фраза представляла сложную форму, в которой были объединены жесты и звуки. Эти жесты воспроизводили движение, с точностью рисуя и описывая предметы и действия.

Чтобы сказать «вода», эта идеограмма показывала, как туземец пьет, набравши воды в руку; слово «оружие» грозно описывалось жестами, которые производят, когда ими пользуются. «Короче говоря, — замечает Леви-Брюль, — примитивный человек, говорящий при помощи этого языка, основывается в огромной степени на зрительно-двигательных ассоциациях между предметами и движениями. Можно сказать, что он думает о предметах, описывая их. Его устный язык, следовательно, тоже не может сделать ничего другого, как описывать».

Маллери отмечает, что слово одного индейского языка аналогично жесту и что только изучение этого последнего объясняет нам примитивный язык. Один язык, говорит он, объясняет другой, и ни один из двух не может быть изучен, если мы не знаем другого. Словарь языка жестов, составленный Маллери, бросает свет на умственные операции того, кто говорит на этом языке, и объясняет, почему примитивный устный язык по необходимости описателен.

Немецкие исследователи называют подобное стремление к живописанию «звуковыми картинками», т. е. рисунками в звуках. Леви-Брюль насчитывает в языке одного из примитивных племен

33 глагола для обозначения различных способов ходьбы. Он говорит, что этим количеством еще не исчерпывается разнообразие всех наречий, которые служат, присоединяясь к глаголу, для описания различных нюансов походки.

Жюно говорит, что, слушая беседы чернокожих, можно было бы сказать, пожалуй: вот детская манера разговаривать. Но дело обстоит как раз обратным образом: в этом живописном языке передаются словами такие оттенки, которые более высоко стоящие языки не могли бы выразить. Нечего и говорить, что подобный характер языка примитивного человека накладывает глубокий отпечаток на весь строй его мышления.

Мышление, пользующееся этим языком, так же как и этот язык, насквозь конкретно, картинно и образно, так же как и он, полно деталей и так же оперирует непосредственно воспроизведенными ситуациями, положениями, выхваченными из действительности. Леви-Брюль указывает на недостаточную силу абстракции при подобном пользовании языком и на те своеобразные «внутренние рисунки» или образы-понятия, которые служат материалом для такого мышления.

Мы можем с полным правом сказать, что мышление примитивного человека, пользующегося подобным языком, эйдетично. К этим выводам на основе своих материалов приходит и Йенш. Он видит в этом языке указание на чувственную память, которая располагает совершенно исключительным множеством оптических и акустических впечатлений, и эта «пикторальная функция» (живописная) примитивного языка кажется ему прямым выражением эйдетичности примитивного человека. По мере культурного развития мышления и языка эйдетическая склонность отступает на задний план, вместе с ней пропадает в языке интерес к передаче отдельных конкретных частных.

Гумбольдт справедливо говорит, что, пользуясь этими языками, чувствуешь себя перенесенным в совершенно другой мир, потому что восприятие мира и истолкование его, подсказываемое подобным языком, действительно глубоко отличны от того способа мышления, который свойствен культурному европейцу.

Турнвальд говорит в полном согласии с этими данными, что по количеству слов язык примитивного человека никак нельзя обозначить как бедный выражениями. В смысле конкретности выражений он превосходит язык культурного человека. «Однако он связан слишком тесно с узкой деятельностью в маленьком пространстве и с условиями жизни, в которых находится небольшая группа, говорящая на этом языке. Особенности жизни этой группы отражаются, как в зеркале, в языке примитивного человека».

У земледельцев в языке оказывается огромное множество обозначений для кокосового ореха в различных стадиях его цветения и созревания или для различных сортов маиса. Номады в Центральной Азии различают в своем языке лошадей по полу и цвету. Бедуин различает таким же образом верблюда, другие народы — собаку, не обладая никаким родовым именем для этих животных. В конкретности примитивного выражения, говорит этот автор, лежит сила и выразительность его, а также его связанность, его неспособность выразить что-либо отдельное или общее, определить отношение к другим вещам. При отсутствии абстракции в этом языке господствует нумеративное перечисление предметов.

Очень важное значение имеет отмеченное Турнвальдом обратное влияние мышления на речь. Мы отмечали уже выше, в какой степени строй умственных операций находится в зависимости от средств, которыми пользуется язык. Турнвальд показывает, что при заимствовании языка одним народом у другого или смешении языков запас слов, как таковой, легко переносится от одного племени к другому, но грамматическое строение существенно изменяется «техникой мышления» того народа, который перенимает этот язык. В тесной зависимости от подобных средств мышления стоят и сами процессы мышления.

Примитивный человек не имеет понятий, абстрактные родовые имена для него совершенно чужды. Он пользуется словом иначе, чем мы. Слово может получить различное функциональное употребление. В зависимости от того, каким способом оно употреблено, будет стоять и та мыслительная операция, которая осуществляется при помощи этого слова.

Слово может быть употреблено как имя собственное, как звук, ассоциативно связанный с тем или иным индивидуальным предметом. В этом случае оно является именем собственным, и при помощи его выполняется простая ассоциативная операция памяти. Мы видели, что в значительной степени примитивный язык стоит именно на этой ступени развития.

Вспомним, какое количество имен собственных отмечали мы в языках примитивных народов, какую тенденцию к максимальной спецификации каждого отдельного индивидуального свойства и предмета. Самый способ употребления слова определяет в данном случае и способ мышления. Вот почему мышление у примитивного человека фактически отходит на задний план по сравнению с деятельностью его памяти.

Второй стадией в развитии пользования словом является стадия, когда слово выступает как ассоциативный знак не индивидуального предмета, а какого-нибудь комплекса или группы



предметов. Слово становится как бы фамильным, групповым именем. Оно выполняет уже не только ассоциативную функцию, но и мыслительную операцию, так как при его помощи классифицируются, объединяются в известный комплекс различные индивидуальные предметы.

Но это объединение все еще остается группой отдельных конкретных предметов, из которых каждый, войдя в новое сочетание, сохраняет всю свою индивидуальность и единственность. На этой стадии слово есть средство образования комплекса. Типичным примером такой функции слова может служить у нас фамильное имя. Когда я говорю о какой-нибудь семье — Петровы, то этим словом я обозначаю известную группу конкретных лиц не в силу того, что они имеют некоторый общий признак, а в силу конкретной их принадлежности к известной общей группе.

Комплекс отличается от понятия отношением, которое устанавливается между индивидуальным предметом и групповым именем. Глядя на предмет, я могу сказать совершенно объективно, дерево это или собака, потому что дерево и собака служат обозначениями понятий, т. е. общих родовых групп, к которым по существенным признакам должны быть отнесены те или иные индивидуальные предметы. Когда я гляжу на человека, я не могу сказать, Петров он или нет, ибо для того, чтобы решить это, необходимо просто узнать *фактически*, принадлежит он или не принадлежит к этой фамилии. Таким образом, в комплексе индивид сохраняется как таковой, а сам комплекс объединяет различные элементы не на основании внутренней существенной связи между ними, а на основе фактической, конкретной, существующей в действительности между ними смежности в том или ином отношении.

Вот на этой стадии комплексного мышления и стоит в значительной степени примитивный человек. Его слова суть имена собственные или фамильные имена, т. е. знаки отдельных предметов или знаки комплексов. Примитив мыслит не в понятиях, но в комплексах. Вот самое существенное отличие, которое отделяет его мышление от нашего.

Когда Леви-Брюль характеризует мышление примитивного человека как мышление дологическое, в котором одновременно возможны самые различные связи, он выражает основное свойство этого мышления в «законе партиципации» (соучастия). Этот закон гласит, что примитивное мышление не подчиняется законам нашей логики, а имеет свою особую, примитивную логику, которая основывается на совсем иной связи представлений, чем наша. Этот особый тип связей, характерный для примитивной логики,

заключается в том, что один и тот же предмет может соучаствовать в различных комплексах, входить как составная часть в совершенно различные связи.

Для примитива, следовательно, не действителен закон исключенного третьего. Для него человек потому, что он входит в комплекс «человек», тем самым не является еще не попугаем: он может быть в одно и то же время и в комплексе «человек», и в комплексе «попугай». Так, индейцы племени бороро утверждали, что они красные попугаи. Это не означает, что они после смерти становятся попугаями и что попугаи — превращенные индейцы, а что они действительно попугаи. Подобная связь невозможна в логике, использующей понятия. Там человек в силу того, что он человек, есть уже тем самым не попугай.

Подобное мышление и подобная логика, как видим, основываются на комплексах, комплексы же покоятся на конкретных связях, а этих конкретных связей, конечно, у одного и того же предмета может быть чрезвычайное множество. Один и тот же человек может входить в различные «фамильные группы». По своей семейной принадлежности он может быть Петровым, по роду, где он проживает, он может быть москвичом и т. д.

Все особенности примитивного мышления могут быть сведены в конечном счете к этому основному факту, именно к тому, что вместо понятий такое мышление оперирует комплексами. «Всякое примитивное понятие, — говорит Вернер, — есть одновременно наглядная картина».

Леруа справедливо предостерегает от того, чтобы по внешнему строению и характеру языка судить об абстрактном или конкретном способе примитивного мышления. Не следует рассматривать только орудие, говорит он, но надо изучить способ его возможного или действительного употребления. Так, обилие специальных терминов не является исключительной чертой примитивности. Оно есть и в нашей технике. Оно отражает потребность в точности при технических операциях рыболова или охотника. Примитив, например, различает в языке различные виды снега, потому что в действительности для его деятельности это различные вещи. Он должен их различать. Богатство словаря здесь только отражает богатство опыта, а богатство опыта создано необходимостью приспособиться или погибнуть. Поэтому, говорит этот автор, примитивный человек не может решиться сменить свой язык на норвежский, «в котором контакт с вещами стал очень отдаленным».

Таким образом, технические потребности, жизненная необходимость, а не особенности мышления являются истинной причиной этих особенностей примитивного языка. Язык жестов, например,

как показывает Леруа, возникает в определенных экономических и географических условиях, он создается необходимостью (при размещении среди чужих племен, при преследовании добычи, на войне, в равнинах при сношении на далеком расстоянии). *Нельзя поэтому принимать в абсолютном смысле и считать первичными все особенности этого языка и мышления.* Если у одних племен и нет общих имен для дерева, рыбы, птицы, то у других (квинслендские племена) есть общие обозначения для птицы, рыбы, змеи. Часто эти обобщения и родовые имена иные, чем у нас. Например, в языке племени питта-питта корень *пи* встречается во всех словах, означающих вещи, движущиеся по воздуху: птица, бумеранг, луна, звезда, молния, сокол.

Аналогия с нашим техническим языком, в котором наблюдается часто та же тенденция вводить множество конкретных наименований вместо немногих абстрактных, и с распространенными у нас названиями цветов по предметам (табачный цвет, цвет соломы, вишневый цвет, коралловый и т. д.) убедительно показывает, что не одни... и во всяком случае не первичные особенности примитивного мышления, но и потребность «непосредственного контакта с вещами», требования технической деятельности повинны во многих особенностях примитивного языка и мышления.

Мы видим, таким образом, что и примитивное мышление, связанное с примитивным языком, обнаруживает ту же самую особенность в развитии, что и память. Вспомним, что развитие памяти заключается в переходе от совершенствования органической памяти к развитию и совершенствованию мнемотехнических знаков, которыми память пользуется. Подобно этому развитие примитивного мышления заключается не в том, что это мышление накапливает все больше и больше подробностей, еще больше расширяет свой словарь, еще тоньше воспроизводит детали. Оно по самому существу меняет свой тип, переходя к развитию и к совершенствованию языка и способов его использования и употребления, к развитию этого основного средства, при помощи которого совершается мышление.

Основной прогресс в развитии мышления связывается в переходе от первого способа употребления слова как имени собственного к способу второму, когда слово является знаком комплекса, и, наконец, к третьему, когда слово является орудием или средством для выработки понятия. Так же как культурное развитие памяти обнаруживает теснейшую связь с историей развития письма, так точно культурное развитие мышления обнаруживает такую же тесную связь с историей развития человеческого языка.

## § 6. Числовые операции примитивного человека

Самым ярким примером развития мышления у примитивного человека и зависимости этого развития от совершенствования высших знаков, на которые оно опирается и при помощи которых оно совершается, является исследование числовых операций примитивного человека. У многих примитивных народов не существует счета дальше двух или трех.

Отсюда, однако, было бы неправильно заключать, что они не умеют считать больше чем до трех. Это означает только, что у них отсутствуют абстрактные понятия, простирающиеся дальше этих чисел. Они не умеют пользоваться теми операциями, которые свойственны нашему мышлению, говорит Леви-Брюль, но «путем операций, которые свойственны им, они умеют достигнуть до определенного предела тех же самых результатов».

Эти операции больше опираются на память. Примитивные люди считают другим способом, чем мы, — способом конкретным, и в этом конкретном способе счета примитивный человек опять-таки превосходит культурного. Иначе говоря, исследование процессов счета у примитивного человека открывает, что и в этом отношении, как и в отношении памяти и речи, примитивный человек не только беднее, но в известном смысле и богаче человека культурного. Правильнее поэтому было бы здесь говорить не о количественном различии, но о *качественно* ином способе счета примитивного человека.

Если мы хотим в одном слове охарактеризовать своеобразие процессов счета у примитивного человека, можно сказать, что у него развита по преимуществу натуральная арифметика. Счет его опирается на конкретное восприятие, на естественное запоминание, на сравнение. Он не прибегает к техническим операциям, созданным культурным человеком в помощь своему счету. Если мы не считаем иначе, как при помощи чисел, мы готовы допустить, что тот, у кого нет чисел больше 3, не умеет и считать больше 3. «Но разве мы должны допустить, что нельзя достигнуть тех же результатов другим путем, — спрашивает Леви-Брюль, — разве невозможно, что примитивный ум имеет свои операции и свои особенные процессы, чтобы достигнуть таких же самых целей, каких мы достигаем нашей нумерацией?» Примитивный человек воспринимает группу предметов с количественной стороны. В данном случае количественный признак выступает как известное непосредственно воспринимаемое качество, которым данная группа отличается от других групп. И по внешнему виду примитивный человек может судить, полна она или неполна.

Надо сказать, что это непосредственное восприятие количеств может быть обнаружено и у культурного человека, главным образом в области восприятия упорядоченных количеств. Если в музыкальном произведении исполнитель опустил бы один такт или в стихотворной поэме кто-нибудь вздумал бы украсть один слог, мы сейчас же, не прибегая к счету, на основании непосредственного восприятия ритма заключили бы, что в данном случае недостает одного такта или одного слога. Лейбниц на этом основании называл музыку бессознательной арифметикой.

Нечто подобное происходит у примитивного человека тогда, когда он воспринимает различные по количеству группы предметов. 12 яблок, например, по непосредственному впечатлению отличаются от группы в 3 яблока. Различие между двумя этими количествами может быть воспринято путем конкретным, без всякого счета. Это несколько не удивляет нас, и в этом отношении мы обладаем такой же способностью на глаз судить, какая из двух групп предметов больше.

Что поражало обычно исследователей, так это тонкая дифференцировка, которой достигает примитивный человек в этом искусстве. Исследователи рассказывают, что, основываясь на необыкновенной памяти, примитивный человек утончает это непосредственное восприятие количеств в величайшей степени. Он замечает, сличая различные впечатления с образом памяти, если в какой-нибудь большой группе недостает одного предмета.

Добрицгофер говорит о примитивах, что «они не только не знают арифметики, они ее избегают; их память, вообще, составляет их недостаток; они не хотят считать, это им причиняет скуку». Когда они возвращаются с охоты за дикими лошадьми, никто их не спрашивает: «Сколько вы привели?» Вопрос ставят так: «Сколько места займет табун лошадей, которых вы привели?»

Когда примитивы собираются на охоту, они одним взглядом окидывают своих многочисленных собак и тотчас замечают, если не хватает одной из них. Точно так же примитивный человек замечает, если в стаде в несколько сотен животных не хватает одного животного. Эта точная дифференцировка, в сущности говоря, представляет собою дальнейшее развитие того же самого непосредственного восприятия количеств, которое мы замечаем и у себя.

Если отличить группу в 12 яблок от группы в 3 яблока так же легко, как отличить красный цвет от синего, то отличить стадо в 100 голов от стада в 101 голову так же, скажем, трудно, как отличить один оттенок синего цвета от другого оттенка того же цвета, чуть-чуть более темного. Однако принципиально это та

же самая операция, только доведенная упражнением до большей дифференцировки.

Любопытно отметить, что и современный культурный человек вынужден возвращаться к этому зрительному конкретному восприятию количеств там, где он хочет наглядно и ярко пережить различие между какими-нибудь количествами. В этом смысле прав Вертгеймер, когда говорит, что натуральная арифметика примитивных народов, как и весь их способ мышления, дает одновременно *и больше, и меньше*, чем наши: меньше — потому что известные операции оказываются для примитивного человека вовсе не доступными и возможности его в этой области значительно более ограничены, чем наши; *больше* — потому что это мышление движется все время в сфере действительности, оно лишено абстракции, оно непосредственно передает живую контрастную ситуацию, и часто, как у нас в практической жизни и в искусстве, эти конкретные образы оказываются гораздо более действительными, чем абстрактные представления.

Когда современный пацифист хочет дать живое представление о том, как много людей убивают на войне, когда он хочет заставить прочувствовать это, он переводит абстрактный арифметический итог в новые конкретные, хотя и искусственно созданные, представления. Он говорит: если трупы убитых на войне положить рядышком плечо к плечу, они займут расстояние от Владивостока до Парижа. Этой наглядной картиной он хочет дать непосредственно ощутить, как в зрительном восприятии, огромность этого количества.

Так точно, когда мы в обычной диаграмме пытаемся представить самую простую вещь, например сколько мыла потребляют в Китае и в Германии, мы для этого рисуем огромного китайца и маленького немца, что символизирует, во сколько раз население Китая больше немецкого; под ними мы рисуем один маленький и другой огромный кусок мыла, и вся эта картина, вся эта диаграмма непосредственно говорит нам гораздо больше, чем отвлеченные арифметические данные. Вот такими картинками, образными способами и пользуется натуральная арифметика примитивного человека.

Леви-Брюль говорит об отношении примитивных народов к нашим числам: это инструмент, в котором они не чувствуют необходимости и употребления которого они не знают. Им нечего делать с числом по отношению к множествам, которые они умеют считать совсем другим путем.

Эта конкретность или образность примитивного счета проявляется в целом ряде особенностей. Если примитив хочет обозначить 3 или 5 человек, он не называет сумму людей, го-

ворит Турнвальд, а называет по имени каждого, кого знает лично; если он не знает имени, он перечисляет по какому-нибудь другому конкретному признаку, например так: человек с большим носом, старик, ребенок, человек с больной кожей и один маленький ждут — все это вместо того, чтобы сказать: пришли пять человек.

Множество воспринимается первоначально как образ какой-нибудь картины. Образ и количество еще срослись в один комплекс. Вот почему, как мы указывали выше, абстрактный счет для примитивного ума оказывается невозможным, он считает только до тех пор, пока его счет кажется ему связанным с действительностью. Числительное у примитивных народов поэтому всегда есть имя, которое обозначает нечто конкретное, это числовой образ или форма, употребляемая как символ для известного множества. Очень часто при этом речь идет просто о вспомогательных приемах памяти.

Решающим, однако, оказывается не это, а то, в каком направлении идет развитие счета у примитивного человека. Это развитие идет не по линии дальнейшего усовершенствования натуральной арифметики, а по тому же пути, по которому идет развитие памяти и развитие мышления у примитивного человека, именно по пути создания особых знаков, при помощи которых натуральная арифметика перерастает в арифметику культурную.

Правда, у примитивных народов и это употребление знаков носит еще чисто конкретный и наглядно-зрительный характер. Простейшим способом счета у примитивного человека являются части тела, которые он сопоставляет с той или иной группой предметов. Таким образом, примитивный человек на высшей ступени своего развития уже не просто схватывает известную группу предметов глазом, а он уже сопоставляет в количественном отношении данную группу с другой группой, например со своими пятью пальцами. Он сравнивает в одном определенном отношении, именно в отношении количества, группу предметов, подлежащих счету, с каким-нибудь *орудием счета*.

В этом смысле примитивным человеком сделан важнейший шаг к абстракции и важнейший переход на совершенно новые пути развития. Однако пользование новым орудием вначале остается еще чисто конкретным. Примитивные люди считают и здесь часто зрительным способом. Они касаются по порядку всех пальцев, частей руки, плеча, глаз, носа, лба, потом тех же членов своего тела с другой стороны и приравнивают таким образом чисто зрительным путем количество каких-нибудь предметов к членам своего тела, отсчитываемым в определенном порядке.

Здесь еще тоже нет числительных в собственном смысле этого слова. Здесь, как замечает Леви-Брюль, дело идет о конкретной операции, об операции памяти, чтобы с ее помощью определить данное множество. По мнению Хедона, эта система употребляется как вспомогательное орудие для счета. Ею пользуются так же, как пользуются веревкой с узлами, а вовсе не как рядом настоящих чисел. Это скорее мнемонический прием, чем числовая операция. Здесь нет еще ни имени числительного, ни числа в собственном смысле слова. Леви-Брюль обратил внимание на то, что при таком счете одно и то же слово может означать различные количества: например, в Новой Гвинее слово «ано» («шея») служит одновременно для обозначения 10 и 14.

Точно так же и у других народов слова, обозначающие палец, плечо, руку, обозначают различные количества в зависимости от того, отмечают они в процессе счета на правой или на левой стороне. Из этого автор заключает, что эти слова отнюдь не обозначают числа. «Как, — спрашивает он, — то же самое слово «дору» могло бы служить знаком для 2, 3, 4 и для 19, 20, 21, если бы оно не было определено жестом, который одновременно указывает один из трех пальцев правой руки или один из тех же самых пальцев левой руки?»

Приведем один замечательный пример, рассказанный Бруком, относительно того, как туземец на Борнео пытался запомнить данное ему поручение. Ему надо было обойти 45 деревень, восставших и покоренных, и сообщить им суммы штрафа, которые они должны заплатить. Как он взялся за это поручение? Он принес несколько сухих листьев, которые разделил на кусочки. Его начальник заменил их бумагой. Он разложил кусочек за кусочком на столе, пересчитывая их одновременно на пальцах рук. Потом он положил ногу на стол и стал считать на пальцах ног дальнейшие кусочки бумаги, из которых каждый служил знаком для имени деревни, имени ее начальника, числа ее воинов и суммы штрафа. Когда он исчерпал пальцы ног, он вернулся к пальцам рук. В конце счета оказалось 45 кусочков бумаги, разложенных на столе.

Он попросил снова повторить ему поручение, что и было сделано. В это время он пробегал рукой по своим кусочкам бумаги и перебирал свои пальцы рук и ног, как и прежде. «Вот наше письмо, — сказал он, — вы, белые, не умеете читать так, как мы». Поздно вечером он все повторил точно, кладя палец на каждый кусок бумаги в отдельности. Он сказал: «Ну, если я завтра утром вспомню, все будет хорошо, оставим эти бумажки на столе». Затем он смешал бумажки в кучу. Наутро он разложил бумажки в том же порядке, как накануне, и повторил все



детали с совершенной точностью. В течение месяца, переходя из деревни в деревню, в глубине страны, он не забыл ни одной из всех этих различных сумм.

«Подстановка кусочков бумаги, — замечает Леви-Брюль, — вместо пальцев рук и ног особенно замечательна. Она нам показывает совершенно чистый случай еще вполне «конкретной абстракции», которая свойственна дологической мысли». И в самом деле, трудно представить пример, более разительно показывающий существеннейшую разницу между запоминанием человека и между запоминанием животного. Прimitивный человек, стоящий перед задачей, превосходящей естественные силы его памяти, прибегает к бумаге, прибегает к пальцам, к созданию внешних знаков.

Он пытается воздействовать на свою память извне. Внутренние процессы запоминания он организует извне, заменяя внутренние операции внешней деятельностью, которая наиболее легко поддается его власти. Организуя эту внешнюю деятельность, он овладевает своей памятью при помощи знаков. В этом сказывается существенное отличие человеческой памяти от памяти животного. Вместе с тем этот пример показывает, насколько тесно операции счета связаны у примитивного человека с операциями памяти.

Рот спросил примитива, сколько пальцев у него на руках и ногах, и попросил отмечать число их линиями на песке. Тот начал сгибать по два пальца и для каждой пары проводил двойную черту на песке. Подобный способ употребляют старшины племен, для того чтобы сосчитать людей. В этом мы видим косвенный инструментальный путь, для того чтобы при помощи знаков составить себе представление о количестве. Переход от натуральной арифметики, основанной на непосредственном восприятии количеств, к опосредованной операции, совершающейся при помощи знаков, как видим, встречается уже на самых первых ступенях культурного развития человека.

Этот счет при помощи частей тела, эта конкретная нумерация постепенно становится полуабстрактной-полуконкретной и составляет первую ступень нашей арифметики. «Нельзя сказать, — говорит Хедон, — что «набигет» — это имя числа пять. Оно означает только, что предметов есть столько, сколько есть пальцев на руке». В основе такого счета лежит, следовательно, молчаливое образное или картинное сравнение, мануальное или — по выражению этого автора — визуальное понятие, без которого развитие примитивных числовых операций было бы непонятно.

Это образное происхождение числовых обозначений обнаруживается в том, что примитив имеет тенденцию считать не по единице, а группами самыми различными, например двойками, четверками, пятерками и т. д. Вот почему, располагая часто не-

большим количеством числительных, исчерпываемых этой группой, этот человек все же может считать чрезвычайно большие количества, повторяя одни и те же числительные по несколько раз.

На тот же конкретный характер указывают существующие у многих примитивных племен различные системы счета для различных предметов, например для предметов плоских и для круглых, для животных и для людей, для времени, для длинных предметов и т. д. Различные предметы требуют и различного счета. Так, например, в языке микир существуют отдельные системы счета для людей, животных, деревьев, домов, плоских и круглых предметов, частей тела. Числительное всегда есть число определенного предмета.

Остатки этого мы видим в сохранившихся еще у нас различных способах счета, применяемых к различным предметам. Карандаши, например, до сих пор считаются на дюжины и grosses и т. д. Замечательны в этом отношении и те вспомогательные слова, которые употребляются многими примитивными народами при счете. Эти вспомогательные слова имеют задачей сделать наглядными и как бы видимыми последовательные стадии арифметической операции. Когда, например, на подобном языке говорят «21 фрукт», это буквально звучит так: сверх 20 фруктов я кладу 1 на самой верхушке; когда говорят «26 фруктов», это значит: сверх двух групп по 10 фруктов я кладу наверху 6.

Здесь, говорит Леви-Брюль, мы видим ту же живописующую арифметику — черту, которую мы видели в общей структуре языка.

Как бы ни казалось парадоксальным это заключение, говорит он, оно между тем истинно: в данных обществах человек считал в течение долгих веков, еще не имея чисел. Было бы ошибкой представлять, что человеческий ум построил числа для того, чтобы считать, в то время как, наоборот, люди начали считать, прежде чем сумели создать числа.

Связь числовой операции с конкретной ситуацией прекрасно поясняет Вертгеймер. Он показывает, что сами числовые образы, которыми пользуется примитивный человек, ориентированы на реальные возможности. То, что невозможно реально, то невозможно для них и в операциях счета. Там, где не существует никакой живой конкретной связи между вещами, там не существует для них и никакого логического отношения. Для примитивного человека, например, 1 лошадь + 1 лошадь = 2 лошади; 1 человек + 1 человек = 2 человека, но 1 лошадь + 1 человек = 1 всадник.

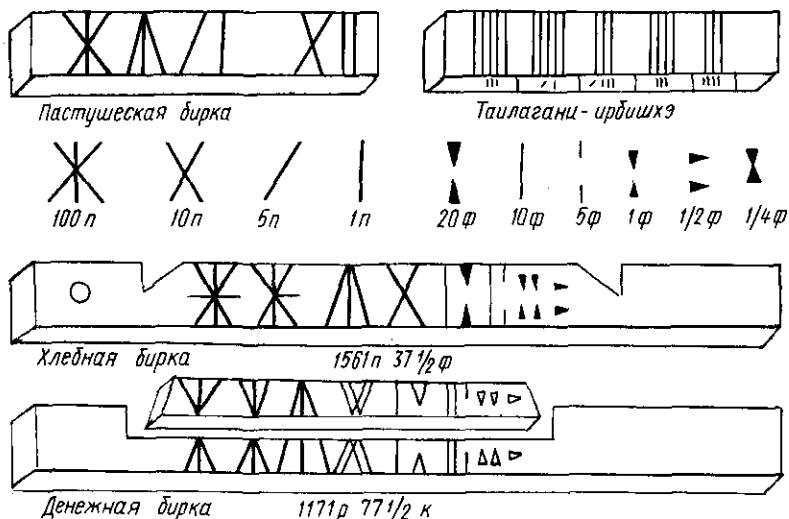


Рис. 20. Бирки иркутских бурят. На бирках отмечается посредством особых знаков, надрезаемых на дереве, количество скота, хлеба, денег и т. п. Бирки служат примитивной записью, распиской, квитанцией, денежным обязательством, заменяя недостающую систему цифр и письма.

Вертгеймер ставит общий вопрос: как ведут себя эти люди при встающих в их жизни таких мыслительных задачах в тех случаях, когда мы оперируем числами? Оказывается, что подобные задачи перед примитивным человеком встают очень часто. При этом он оперирует на низших ступенях своего развития непосредственными восприятиями количества, а на высших ступенях — нумерическими образами, употребляемыми в качестве знаков или орудий, но носящими еще чисто конкретный характер.

В качестве знаков или вспомогательных орудий на ранней ступени выступают камешки, пальцы, палочки, из которых развиваются впоследствии бирки (рис. 20). Наконец, когда у примитива не хватает пальцев для счета, он считает на пальцах своего товарища, а если нужно, то приглашает и третьего товарища, причем иногда пальцы каждого нового товарища означают новый разряд (десяток).

В счете примитивных народов часто находим мы знаки, приближающиеся к римской системе. Так, например, цуни изобретают при помощи узлов все числа: простой узел обозначает единицу, более сложный — пять, еще более сложный — десять.

Два значит один плюс один. Пять с предшествующим простым узлом означает четыре; пять, с последующим узлом означает шесть. Эта система обозначения низшего количества через вычитание единицы из высшего указывает на арифметическую ориентировку примитивного человека на закругленные и законченные естественные группы (пальцы руки и т. п.).

Замечательный случай рассказывает один исследователь о счете примитивного человека. Этот случай проливает свет на развитие числовых систем. Примитив считает сначала на пальцах одной руки, приговаривая: «Это — один» и т. д.; при последнем пальце он прибавляет: «Одна рука». Затем он считает пальцы другой руки таким же точно образом, затем пальцы ног. Если счет при этом не закончен, то при дальнейшем счете «одна рука» считается как единица высшего разряда. Теперь уже, считая на пальцах рук и ног, он считает пятками, т. е. целые руки.

Эту операцию психологи вызывают чисто экспериментальным путем. Представим себе, что какой-нибудь группе культурных людей мы предложим пересчитать 27 предметов, предупредив их при этом, что они, как некоторые примитивные народы, не умеют считать больше чем до пяти. Как показывают наши опыты, часть группы не решает задачу вовсе; часть решает ее, не выполнивши условия; наконец, третья часть решает ее совершенно правильно и совершенно одинаковым образом.

Они пересчитывают предметы, повторяя все время ряд от единицы до пяти, затем начинают считать пятки и выражают итог следующим образом: пять пятков и два. Исследования показывают, что и наш счет по десятичной системе основан именно на таком приеме. Это всегда как бы счет в две пяти: мы считаем сами предметы и затем считаем свой счет, т. е. группы этих предметов. Так, например, когда я считаю 21, 22, 23... затем 31, 32, 33, то я фактически считаю предметы только при помощи 1, 2, 3, слова же «двадцать» и «тридцать», прибавляемые всякий раз, показывают мне, что мой счет идет в пределах второго и третьего десятков.

Экспериментальные исследования привели к чрезвычайно интересному выводу, показывающему, что наша счетная система считает за нас. То раздвоение внимания, которое должен осуществить примитив, считая раньше единицы предметов на пальцах руки, а потом количество рук на тех же самых пальцах, — это самое за нас проделывает десятичная система. Поэтому, говорят психологи, когда мы считаем, с психологической точки зрения мы не считаем вовсе, а припоминаем. Мы автоматически пользуемся нашей числовой системой, мы воспроизводим в порядке числовой ряд и, достигнув определенного пункта, узнаем готовый результат. То, что мы видим у взрослого культурного

человека в скрытой, автоматизированной и уже развитой форме, существует у примитивного человека еще в явной форме и в состоянии развития.

Любопытно отметить, что при помощи таких специфических вспомогательных средств происходит не только простой счет, но и довольно сложные арифметические операции. Вертгеймер сообщает о замечательном способе счисления, который был найден у курдов на русско-персидской границе. Не владея еще абстрактной операцией счета, курды умножают следующим образом. Числа от 6 до 10 изображаются пригибанием одного, двух, трех, пяти пальцев (подразумевается: плюс пять). Умножение от  $5 \times 5$  до  $10 \times 10$  производится так, что согнутые пальцы складываются как десятки, а вытянутые умножаются как единицы.

Например, нужно умножить  $7 \times 8$ . На одной руке загнута два пальца ( $2 + 5 = 7$ ); на другой — три ( $3 + 5 = 8$ ). Приложить одну руку к другой, сложить загнутые пальцы ( $2 + 3 = 5$ ), умножить вытянутые — шесть единиц ( $2 \times 3 = 6$ ). Результат — 56.

Леруа указывает на то, что и у культурных народов встречаются числовые множества или нумерические образы (век, год, неделя, месяц, эскадрон — все это нумерические образы). «Чем, — спрашивает он, — слово фиджи «кого», означающее «сто кокосовых орехов», более примитивно, чем слово «век», означающее «сто лет»?» У нас 10 солдат, идущих отдельно, — это 10 человек, а с капралом в строю — взвод: в этом примере Леруа видит аналогию с тем, что в примитивных языках число «описывает специальные обстоятельства» счета.

Основной вывод этого автора является, на наш взгляд, бесспорным: нельзя сравнивать счисление примитивов со «счислением» животных, т. е. нельзя сводить к непосредственному восприятию количеств всю примитивную арифметику. Самое характерное для этой арифметики заключается в том, что это «эмбриональное счисление, для того чтобы перейти за определенные границы, должно всякий раз прибегать к помощи конкретной мнемотехники» (употребление пальцев, палочек). Соединение натуральной арифметики (непосредственное восприятие количеств) с мнемотехнической составляет самую характерную черту примитивного счисления. Леруа справедливо сравнивает эту арифметику со счетом у неграмотных и с пользованием наглядными числами (диаграммы) у нас.

Дальнейшее развитие «культурной математики» теснейшим образом связано с эволюцией знаков и способов их употребления. Это приложимо не только к низшим, но и к самым высшим ступеням развития научной математики. Ньютон, объясняя сущность

алгебраического метода, говорил, что для решения вопросов, относящихся к числам или отвлеченным отношениям величин, требуется только перевести задачу с английского или другого языка, на котором она предложена, на язык алгебраический, способный выразить наши понятия о соотношении величин.

Эту роль знаков как орудий прекрасно отмечает Шереметьевский в своем очерке «История математики». «Что касается, — говорит он, — собственно математического анализа, то одна характерная особенность обращает его в настоящую машину мысли, исполняющую ее работу с быстротой и точностью, свойственной хорошо пригнанному механизму. Я говорю о приеме символического записывания всех заключений анализа с помощью алгебраического знака».

Сравнивая современную алгебру, пользующуюся этими знаками, с риторической алгеброй древних, этот автор приходит к заключению, что вся психологическая работа по решению задач перестроилась под влиянием нового способа обозначения операций. «Они были лишены, — говорит он о древних математиках, — той механизмирующей рассуждение символики, которая представляет громадное преимущество современной алгебры. В их несимволизированной или риторической алгебре приходилось усиленно напрягать память и воображение, чтобы постоянно удерживать в сознании все логические нити, связывающие конечные выводы с условиями задачи. Античному математику приходилось развивать тот особый склад мыслей, который вырабатывается у шахматных игроков, ведущих партию, не глядя на доску. Там нужно было «сверхчеловеческое разумение» для этой работы. Какой исключительной силы абстрактного мышления требовала эта работа, можно видеть из того, что Евклид не нашел себе подражателей и теория несоизмеримых 1800 лет оставалась в этой форме».

## § 7. Примитивное поведение

Мы видим, таким образом, что уже примитивный человек сделал в своем развитии тот важнейший шаг, который заключается в переходе от натуральной арифметики к пользованию знаками. То же самое мы отметили и в области развития памяти, и в области развития мышления. Мы вправе предположить, что в этом и состоит общий путь исторического развития человеческого поведения.

Подобно тому как возрастающее господство над природой основывается у человека не столько на развитии его естественных органов, сколько на совершенствовании его техники, подобно этому и господство его над собой, всевозрастающее развитие его поведе-

ния основываются преимущественно на совершенствовании внешних знаков, внешних приемов и способов, вырабатываемых в определенной социальной среде под давлением технических и экономических потребностей.

Под этим влиянием перестраиваются и все естественные психологические операции человека. Одни отмирают, другие раскрываются. Но самым важным, самым решающим, самым характерным для всего процесса является то, что он совершенствуется извне и определяется в конечном счете общественной жизнью той группы или того народа, к которому принадлежит индивид.

Если у обезьяны мы отмечаем наличие употребления орудий и отсутствие употребления знаков, то у примитивного человека мы замечаем выросший на основе примитивных орудий труд как основу его существования и переходную форму от натуральных психологических процессов (как эйдетическая память, непосредственное восприятие количеств) к пользованию культурными знаками, к созданию особой культурной техники, при помощи которой он овладевает своим поведением.

Однако есть одна черта, характеризующая в этом отношении ту стадию, которой достиг в своем развитии примитивный человек. Когда хотят охарактеризовать примитивного человека одним словом, обыкновенно говорят о магии или магическом мышлении как наиболее характерной для него черте. Эта черта, как мы сейчас постараемся показать, характеризует не только внешнее поведение человека, направленное на овладение природой, она характеризует и его поведение, направленное на овладение собой.

Что такое магическое действие, легко видеть на любом самом простом примере. Человек хочет, чтобы пошел дождь. Для этого он изображает при помощи особой церемонии дождь: дует, изображая ветер, размахивает руками, изображая молнию, стучит в барабан, изображая гром, проливает воду, — одним словом, подражает дождю, создает зрительную картину, аналогичную той, какую он хочет вызвать в природе. К подобной же магии, основанной на аналогии, прибегает примитивный или полупримитивный человек тогда, когда он совершает половой акт на засеянном поле, желая таким образом побудить землю к плодородию.

Как правильно указывает Данцель, примитивный человек выполняет церемонию плодородия в тех случаях, где мы применили бы технические сельскохозяйственные мероприятия. Из анализа этих простейших примеров легко видеть, что примитивный человек применяет магические операции там, где он стремится при помощи этих магических операций достигнуть власти или господства над природой, вызвать по своей воле то или иное явление.

Вот почему магическое поведение есть уже поведение собственно человеческое, невозможное у животного. Вот почему также неправильно рассматривать магию исключительно как недостаток мышления. Напротив, в известном отношении она есть огромный шаг вперед по сравнению с поведением животного. Она выражает созревшую в человеке тенденцию к господству над природой, т. е. тенденцию перехода к принципиально новой форме приспособления.

В магии проявляется не только тенденция к власти над природой, но в такой же мере и тенденция к господству над собой. В этом смысле в магии мы находим зародыш и другой чисто человеческой формы поведения: овладения своими реакциями. Магия допускает принципиально одинаковое воздействие на силы природы и на поведение человека. Она одинаково допускает заговор на любовь и на дождь. Поэтому в ней в нерасчлененном виде заключена и будущая техника, направленная на овладение природой, и культурная техника, направленная на овладение собственным поведением человека.

Поэтому Данцель говорит, что в противоположность объективной практике нашей техники мы можем обозначить магическое поведение в известной мере как своего рода субъективную, инстинктивно примененную психотехнику. В недифференцированности объективного и субъективного и в постепенной поляризации того и другого видит этот автор исходную точку и самую существенную линию культурного развития человека.

В самом деле, полное выделение объективного и субъективного становится возможным только на основе развития техники, при помощи которой человек, воздействуя на природу, познает ее как нечто, стоящее вне его и подчиняющееся своим особым законам. В процессе своего собственного поведения, накапливая известный психологический опыт, он познает законы, управляющие его поведением.

Человек воздействует на природу, сталкивая ее силы, заставляя одни силы воздействовать на другие. Так же воздействует он на себя, сталкивая внешние силы (стимулы) и заставляя их воздействовать на себя. Этот опыт воздействия через промежуточную внешнюю силу природы, этот путь «орудия» с психологической стороны одинаков и для техники, и для поведения.

Бюлер и Коффка с полным правом говорят, что процесс употребления слова в качестве знака для обозначения вещи обнаруживает в момент возникновения у ребенка полную психологическую параллель с употреблением палки в опытах с шимпанзе. Наблюдения над ребенком показывают, что с психологической стороны все особенности того процесса, который наблюдали мы у обезьяны, повто-



ряются снова здесь. Отличительная черта магического мышления примитивного человека заключается в том, что его поведение, направленное на овладение природой, и поведение, направленное на овладение собой, еще не отделены одно от другого.

Магию Рейнах определяет как стратегию анимизма. Другие авторы, такие, как Юберт и Маус, определяют ее как технику анимизма. И в самом деле, примитивный человек, смотрящий на природу как на систему одушевленных предметов и сил, воздействует на эти силы так, как он воздействует на одушевленное существо. Тейлор поэтому справедливо видит сущность магии в ошибочном выдвигании идеального перед реальным.

Фрезер правильно говорит, что магия принимает власть над мыслями за власть над вещами; естественные законы заменяются психологическими; то, что сближается в мысли, сближается для примитивного человека и в действительности. В этом заложена основа имитативной магии. Легко заметить, что в приведенных выше примерах магических операций воздействие на природу строится по закону простой ассоциации по сходству.

Так как производимая церемония напоминает дождь, то она и в природе должна вызвать дождь; так как половой акт порождает плодородие, то он должен обеспечить хороший урожай. Подобные действия оказываются возможными только на основе убеждения, что законы природы суть законы мысли. На подобном же отождествлении законов природы с законами мысли покоятся и другие магические операции вроде, например, той, при которой, для того чтобы причинить зло человеку, колют, ранят или разрывают его изображение, сжигают частичку его волос и т. д.

Наше описание магического поведения человека было бы неполно, если бы мы не сказали, что подобное же магическое отношение проявляет человек не только в отношении к природе, но и в отношении к себе самому.

Слова, числа, узлы, употребляемые для запоминания, — все это постепенно также начинает играть роль магического средства, потому что примитивный человек еще не овладел настолько своим поведением, чтобы понять истинные законы, по которым действует язык, число или мнемотехнический знак. Успех, производимый этими средствами, кажется ему волшебным; точно так же силе волшебства дикари приписывали то, что белые люди при помощи записки передают друг другу мысли, и т. д.

Было бы, однако, величайшей ошибкой абсолютизировать магический характер примитивного мышления и поведения, как это делает Леви-Брюль, и приписывать ему значение первичной самостоятельно возникающей особенности. Исследования показывают, как говорит Турнвальд, что магия вовсе не наиболее распростра-

нена среди самых примитивных народов. Лишь у средних примитивов она приобретает почву для своего развития, и расцвет ее приходится на высшие примитивные народы и древние культурные народы. Необходимо значительное развитие культуры, для того чтобы возникли необходимые предпосылки для магии.

Мы видим, следовательно, что примитивное поведение и магическое поведение отнюдь не совпадают и что магия является не первичным, а относительно поздно возникающим свойством мышления. «В магии, — говорит Леруа, — Леви-Брюль находит основную область, которая подтверждает его идеи. Но магия есть и у культурных народов, и магия, как и вера в магические силы, не означает непременно мысли, уклоняющейся от естественных законов логики». Последнее обстоятельство особенно важно, так как позволяет понять истинное место и значение магии в примитивном поведении. Мы уже приводили выше прекрасный анализ Турнвальда, показавшего, что магическая церемония изгнания духа из больного человека вполне логична с точки зрения примитивного понимания причин болезни.

Турнвальд показал далее, что известное развитие технической мощи примитивного человека является необходимой предпосылкой для возникновения магии. Данная степень развития примитивной техники и мышления является необходимым условием, для того чтобы поведение могло приобрести магический характер. Таким образом, не магия порождает примитивную технику и склад примитивного мышления, а техника и связанная с ней техника примитивного мышления порождают магию.

Это становится особенно ясным, если принять во внимание не только позднее возникновение магии и ее относительную независимость от примитивности, но и то, что даже там, где магия широко развита, она отнюдь не безраздельно господствует в поведении примитивного человека и его мышлении и отнюдь не окрашивает в свой цвет все поведение в целом. Скорее, как показывают исследования, она представляет *одну* только сторону поведения, *один* его план или разрез, *одну* из многих его граней, конечно, внутренне, органически связанную со всеми остальными гранями, но не заменяющую их и не сливающуюся с ними.

Мы уже приводили мнение одного из исследователей, гласящее, что примитивный человек умер бы на другой день, если бы он действительно мыслил по Леви-Брюлю. Это и в самом деле так. Все приспособление к природе, вся примитивная техническая деятельность, охота, рыболовство, война, — короче, *все*, что составляет действительную основу его жизни, было бы абсолютно невозможно на основе только магического мышления. Равным образом никакое овладение поведением, никакая мнемотехника, за-

чатки письменности и счисления, никакое употребление знаков не могли бы возникнуть на этой основе. Овладение силами природы и собственным поведением требует не мнимого, а действительного, не мистического, а логического, не магического, а технического мышления.

Мы уже выше указывали, что магическое значение первичных мнемотехнических средств, слов и чисел — вообще знаков — имеет более позднее происхождение и уж во всяком случае не является исходным и первичным. Мистическое значение чисел, справедливо говорит Леруа, не содержит в себе ничего примитивного. Это относится и к остальным позднейшим магическим народам. Магия во всяком случае не является первичной исходной точкой культурного развития, синонимом примитивности, первобытности и изначальности мышления. Но даже тогда, когда она появляется, она, как уже сказано, не покрывает собой поведения в целом.

«У примитивного человека, — говорит Леруа, — есть два различных плана: план натуральный, экспериментальный, и план сверхнатуральный, или мистический. Это относится к уму примитива в такой же мере, как и к его жизни. Может происходить смешение этих двух планов, но их смешение и слияние не есть правило, как говорит Леви-Брюль». Если нельзя преуменьшать значение магов, говорит этот автор в другой связи, нельзя его и переоценивать и, главное, надо его рассматривать в его плане. «Другими словами, нельзя утверждать, что примитивный ум постоянно смешивает магическое могущество и техническое умение». Вождь, например, не маг, а тот, кто обладает большим возрастом и опытом, мужеством, даром речи.

Главная ошибка Леви-Брюля заключается в недооценке технической деятельности, практического интеллекта примитивного человека, того бесконечно поднявшегося над операциями шимпанзе, но генетически связанного с ним употребления орудий, которое в корнях своих не имеет ничего общего с магией. Мышление примитива Леви-Брюль часто ошибочно отождествляет с его инстинктивной и автоматической деятельностью.

«Нельзя сравнивать, как это делает Леви-Брюль, техническую деятельность примитивов с ловкостью бильярдного игрока, — говорит по этому поводу Леруа. — Можно с этим сравнить то, как примитив плавает, лазает по деревьям, но изготовление лука или топора не сводится к инстинктивной операции: надо выбрать материал, узнать его свойства, высушить, размягчить, разрезать и т. д. Во всем этом ловкость может придать точность движениям, но не может ни осмыслить, ни комбинировать их. Может быть, что игрок на бильярде не является ни в какой мере ма-

тематиком, но *конструктор* бильярда имел нечто большее, чем инстинктивную ловкость. Разве отсутствие абстрактной теории означает отсутствие логики? Как дикарь, видя, что бумеранг возвращается к нему, не приписывает этого действия духу? Надо, чтоб он увидел в этом результат формы, выделил ее полезные детали, чтоб воспроизвести их».

В наши задачи не входит дальнейшее рассмотрение этого вопроса. Проблема магии выходит далеко за пределы нашей темы и требует не только психологического исследования и объяснения, но все же мы решаемся высказать здесь теоретическое предположение, что магическое мышление, означающее разницу между потребностями и возможностями в деле овладения природными силами, не только обусловлено недостаточным развитием техники и разума при переоценке собственных сил, как говорит Турнвальд, но закономерно возникает на определенной ступени развития техники и мышления как необходимый продукт не расчлененной еще тенденции к овладению природой и поведением из примитивного единства «наивной психологии и физики».

В нашем изложении мы все время стремились показать, как средства мышления, которыми вооружен примитивный интеллект, с неизбежностью приводят к комплексному мышлению, подготавливая психологическую почву для магии. Расхождение линии развития практически действенного интеллекта, технического мышления и мышления речевого, словесного составляет вторую необходимую предпосылку для возникновения магии. Необходимость раннего развития технического мышления, приспособления и подчинения сил природы своей власти составляет важнейшее отличие интеллекта примитивного человека от интеллекта ребенка.

Та третья теория культурно-психологического развития, о которой мы упоминали в одном из первых параграфов настоящей главы и которую мы старались развить в ее главных моментах в нашем очерке, видит основные факторы психологического развития примитива в развитии техники и соответствующем ей развитии социального строя. Не из магии рождается техника, но соответствующее развитие техники *при специальных условиях примитивной жизни* порождает магическое мышление.

С особенной ясностью это примитивное единство «наивной психологии» и «наивной физики» проступает в процессах примитивного труда, которые мы, к большому сожалению, были вынуждены оставить вне нашего рассмотрения, но которые дают истинный ключ к уразумению всего поведения примитивного человека. Свое материальное символическое выражение это единство находит в соединении орудия и знака, которое встречается часто у примитивных народов. «Так, на Борнео и Целебесе, — расска-

зывает К. Бюхер, — найдены особые палки для копания, на верхнем конце которых приделана маленькая палочка. Когда при сеянии риса палка употребляется для разрыхления почвы, маленькая палочка издает звук». Этот звук — нечто вроде трудового возгласа или команды, которые имеют своей задачей ритмическое регулирование работы. Звук снаряда, приделанного к палке для копания, заменяет человеческий голос. Орудие как средство воздействия на природу и знак как средство стимулирования поведения здесь объединены в одном снаряде, из которого впоследствии разовьются примитивные лопата и барабан.

Соединение в магическом действии тенденции к овладению природой с тенденцией к овладению своим поведением, отражающее в кривом зеркале магии начало культурного развития, — этот полный титул человека, по выражению Турнвальда, — вот самое характерное отличие в личности примитивного человека. Дальнейшее культурное развитие, обусловленное всевозрастающим господством человека над природой, идет по линии разъединения этих двух тенденций. Развита техника приводит к отделению законов природы от законов мысли, и магическое действие начинает отмирать.

Параллельно с более высокой степенью господства над природой общественная жизнь человека и его трудовая деятельность начинают предъявлять все более высокие требования к господству над собственным поведением человека. Развиваются язык, число, письмо и другие технические средства культуры. При их помощи и самое поведение человека подымается на высшую ступень.